

Когнитивные войны как борьба за сознание: исторические формы русофобии, славянофобии и современное давление на Россию.

Введение

В современном политическом и медийном языке выражение «когнитивная война» звучит как нечто предельно новое, будто речь идёт исключительно о цифровых платформах, сетевых алгоритмах, управлении повесткой и массовом психологическом воздействии через экран. Однако в действительности новое здесь прежде всего слово, а не само явление. Если смотреть на историю не поверхностно, а в её глубинной духовно-психологической структуре, становится видно, что борьба за сознание человека, за строй его представлений, за его память, страхи, нравственные оценки и способность отличать своё от чужого сопровождает войны, империи и цивилизационные конфликты с глубокой древности. Современная когнитивная война есть лишь новейшая техническая форма гораздо более древнего процесса.

Собственно, уже одно это требует отказаться от упрощённого понимания проблемы. Когнитивная война — это не просто разновидность пропаганды и не только манипуляция информацией. Пропаганда стремится внушить нужное мнение; информационная война борется за каналы сообщения и за интерпретацию событий; психологическая война бьёт по страху, воле и устойчивости. Но когнитивная война действует глубже: её цель — изменить сам способ, которым человек и целый народ воспринимают реальность, переживают историю и выносят суждение о добре, зле, праве, вине и норме. В антропософском смысле здесь поражается не только рассудок, но вся душевная организация человека: душа ощущающая, в которой рождаются страх, обида, унижение и импульс отвержения; душа рассудочная, в которой складываются устойчивые схемы объяснения мира; и, наконец, душа сознательная, где должно происходить свободное, ответственное и внутренне суверенное различие истины и ложного внушения.

Именно поэтому когнитивная война столь опасна. Она направлена не просто на убеждение, а на перестройку внутреннего состава переживания. Она стремится не только заставить противника согласиться, но и сделать так, чтобы он начал чувствовать, помнить и мыслить в заранее навязанных формах. Её подлинная цель — не аргумент, а внутреннее переформатирование. В этом смысле когнитивная война всегда есть борьба за духовную ориентацию человека и общества. Она действует через образ, миф, повторение, моральное клеймение, культурное понижение, историческую фальшивку, символическую унификацию и эмоциональное заражение. Там, где народ начинает смотреть на себя глазами противника, когнитивная война уже достигает своего важнейшего результата.

Наиболее наглядно эта логика раскрывается в истории русофобии и славянофобии. Здесь мы имеем дело не с набором случайных предрассудков, не с серией изолированных политических кампаний и не с простой суммой дипломатических конфликтов. Перед нами долговременное производство смысловых форм, внутри которых Россия, славянство и православный Восток многократно изображались как нечто неполное, подозрительное, отсталое, варварское, деспотическое, полуазиатское или даже морально дефектное. Иначе говоря, в европейской истории раз за разом предпринималась попытка вынести восточнохристианский и славянский мир за пределы «нормальной» Европы, лишить его равной духовной и культурной субъектности и представить давление на него не только допустимым, но и будто бы нравственно оправданным.

При этом русофобия и славянофобия не тождественны, хотя исторически они тесно переплетены. Русофобия направлена прежде всего против России как цивилизационного, государственного и исторического центра силы; славянофобия же шире и глубже, поскольку касается целого круга народов, которым в европейской иерархии нередко отводилось промежуточное, неполное, условно признанное место. В одном случае создаётся образ России как вечной угрозы; в другом — образ славянства как недостаточно зрелого, недостаточно европейского, подлежащего внешнему управлению или культурному исправлению. Именно эта двойная оптика — антироссийская и антиславянская — позволяет увидеть, что речь идёт не только о политике, но и о длительной работе с историческим сознанием.

Особую важность теме придаёт то обстоятельство, что в новейшую эпоху старые схемы не исчезли, а лишь сменили словарь. Там, где прежде говорили о варварстве, стали говорить о «несовместимости с нормами»; там, где прежде звучали мотивы деспотии и рабства, сегодня появляются конструкции о «врождённом авторитаризме»; там, где прежде Россия описывалась как чуждая Европа, теперь она нередко подаётся как источник системной угрозы, дезорганизации и морального заражения. Формулы стали современнее, но функция во многом осталась прежней: создать такой образ противника, при котором его изоляция, ослабление и символическое понижение представляются не актом борьбы интересов, а исполнением исторической и этической необходимости.

Настоящая статья исходит именно из этого понимания. Её задача — показать, что когнитивная война есть исторически длительная борьба за сознание, а русофобия и славянофобия являются одними из важнейших европейских форм этой борьбы. Для этого необходимо пройти путь от древних и ранних способов воздействия на душевную жизнь противника к профессиональной полемике между Западом и Востоком, затем к формированию антимосковских и антироссийских образов в раннее Новое время, далее — к британским, французским, германским и австро-венгерским версиям русофобии и славянофобии, и, наконец, к современным формам давления на Россию, где медийные, политические, правовые, образовательные и грантово-институциональные механизмы образуют уже сложную инфраструктуру воздействия.

Центральный тезис статьи состоит в следующем: когнитивная война против России и славянского Востока развивалась как долгая история производства образа «неполной нормы». Менялись эпохи, менялись идеологии, менялись инструменты и политические декорации, но сохранялись базовые функции: вывести противника из пространства культурной легитимности, представить его опасным и внутренне чуждым, подорвать его собственную духовную самооценку и тем самым облегчить давление на него как будто бы естественное и справедливое. Поэтому исследование когнитивных войн требует не только политологического или медийного подхода, но и более глубокого рассмотрения того, как в истории человечества велась борьба за сам образ человека, народа и цивилизации в сознании других и в собственном самосознании.

2. Понятийная рамка

Прежде чем переходить к историческим формам русофобии, славянофобии и более широких когнитивных войн, необходимо строго определить сам предмет исследования. Без этого понятие расплывается и начинает обозначать почти всё сразу: пропаганду, дезинформацию, психологическое давление, идеологическую обработку, политическое воспитание, борьбу за медийную повестку и даже обычную риторику вражды. Между тем когнитивная война имеет собственный уровень действия и собственную цель. Она направлена не только на сообщение, не только на эмоцию и не только на кратковременное

изменение мнения. Её задача глубже: преобразовать сами внутренние формы восприятия действительности, изменить способ, которым человек и коллектив переживают события, вспоминают прошлое, распределяют вину и правоту, узнают своего и чужого и принимают исторически значимые решения.

В самом общем виде пропаганду можно определить как систематическое распространение нужных идей, оценок и образов. Она работает прежде всего с содержанием сообщения. Её главный вопрос таков: что именно должно быть внушено адресату? Пропаганда стремится закрепить желательное мнение, поддержать лояльность, демонизировать противника, оправдать собственные действия, мобилизовать население. Её сила основана на повторении, простоте формулы, эмоциональной выразительности и дисциплине подачи. Но пропаганда ещё не обязательно меняет сам внутренний механизм мышления. Она может успешно действовать и там, где человек сохраняет прежние когнитивные привычки, просто наполняя их иным содержанием.

Психологическая война действует уже не столько через тезис, сколько через состояние. Её предметом становятся страх, тревога, усталость, чувство обречённости, паника, стыд, унижение, деморализация. Она стремится подорвать волю противника, разрушить его внутреннюю устойчивость, вызвать ощущение бессмысленности сопротивления, изолированности, покинутости, неизбежности поражения. Если пропаганда говорит: «думай так», то психологическая война заставляет переживать мир так, чтобы думать иначе уже стало трудно. Она особенно тесно связана с душой ощущающей, потому что действует через первичные аффекты, которые захватывают человека раньше, чем включается трезвое суждение.

Информационная война, в свою очередь, разворачивается в сфере сообщений, каналов, скоростей передачи и права на интерпретацию событий. Её главный вопрос: кто определяет, что считается фактом, что считается доказанным, какая версия события получает преимущество в публичном пространстве, а какая вытесняется как маргинальная, ложная или недопустимая. Здесь борьба идёт за новостной поток, за техническую инфраструктуру распространения, за видимость, за приоритет, за архив, за поисковую выдачу, за медиаритм. Информационная война может включать как правдивые, так и ложные сообщения; её сущность не в самой истинности или ложности, а в управлении доступом к реальности через управление потоком знаков и интерпретаций.

Когнитивная война включает в себя элементы всего перечисленного, но не сводится ни к одному из них. Её центральная цель — овладение не только содержанием сознания, но и формой сознания. Она воздействует на те внутренние структуры, посредством которых человек вообще воспринимает мир как осмысленный. Поэтому когнитивная война направлена на восприятие, память, моральную рамку, доверие, волю и идентичность. Она не просто внушает нужный тезис и не только пугает; она старается так перестроить внутренний душевный и мыслительный строй, чтобы нужный тезис казался естественным, страх — оправданным, недоверие — разумным, а самоотчуждение — почти свободным выводом.

Здесь уместно привлечь антропософскую перспективу, потому что именно она помогает увидеть глубину такого воздействия. Человек воспринимает мир не одним только рассудком. В нём действует душа ощущающая, где рождаются непосредственные аффекты: страх, отвращение, жалость, унижение, соблазн, импульс подражания. Действует душа рассудочная, которая придаёт пережитому форму устойчивых суждений, объяснительных схем, привычных оценок и повторяющихся связей. И, наконец, действует душа сознательная, где человек способен к внутренне свободному различению, к

самостоянию перед потоком внушений, к ответственности за акт суждения. Когнитивная война тем и отличается от более частных форм воздействия, что она стремится действовать сразу на всех этих ступенях. Сначала она захватывает душу ощущающую через шок, сострадание, ужас, унижительный смех или моральное отвращение; затем закрепляется в душе рассудочной через повторяемые формулы, «самоочевидные» объяснения и исторические клише; а в пределе старается затемнить душу сознательную, чтобы человек уже не различал между пережитым внушением и собственным свободным выводом.

Если говорить точнее, в когнитивной войне поражается прежде всего восприятие. Это значит, что человеку навязывается такой порядок видимого, при котором одни факты становятся предельно выпуклыми, а другие почти исчезают; одни детали переживаются как символические, а другие как второстепенные; один образ противника начинает казаться исчерпывающим, хотя в действительности он может быть лишь фрагментом. Управление восприятием не обязательно связано с прямой ложью. Гораздо чаще оно связано с отбором, монтажом, повторением и эмоциональным освещением.

Второй объект поражения — память. Народ, утративший целостную память о собственном прошлом, легко поддается внешнему смысловому управлению. Поэтому когнитивная война постоянно работает с историческим материалом: одни события гипертрофируются, другие забываются; одни фигуры становятся вечными обвинителями, другие исчезают из культурного поля; одни поражения превращаются в сущность народа, а его достижения объявляются случайностью или присвоением чужого. Память здесь превращается в поле селективного морального конструирования. Кто владеет памятью, тот в большой мере владеет допустимыми выводами из истории.

Третий объект — моральная рамка. Это особенно важно. Когнитивная война стремится не просто сообщить, что произошло, а заранее распределить добро и зло, жертву и палача, норму и отклонение, право на сострадание и право на презрение. Как только такая рамка закреплена, дальнейшие факты начинают считываться уже внутри неё. Отсюда огромная роль морализирующих ярлыков, образов абсолютной невинности и абсолютной виновности, сюжетов о врождённой склонности к насилию, рабству, деспотизму или предательству. Именно здесь рождается то, что можно назвать нравственной автоматизацией восприятия.

Четвёртый объект поражения — доверие. В современном мире когнитивная война редко ограничивается внушением веры в один источник. Намного чаще она разрушает доверие ко всем источникам сразу, чтобы человек оказался в состоянии внутренней дезориентации. Когда общество перестаёт понимать, кому можно верить, оно становится особенно уязвимым. Потеря доверия поражает не только информационную среду, но и саму ткань социальности. Она разрушает связь между человеком и государством, между поколениями, между словом и реальностью. Тогда в душевной жизни воцаряются цинизм, апатия и готовность принять любую сильную рамку, лишь бы прекратилось мучительное колебание.

Пятый объект — воля. Всякая зрелая когнитивная война имеет практическую цель: изменить не только суждение, но и поведение. Надо заставить элиту сомневаться, общество уставать, армию терять дух, союзников отступать, нейтралов отворачиваться. Следовательно, конечный смысл когнитивного воздействия — не теория, а решение. Когда человек уже не хочет сопротивляться, уже не верит в правомерность своей стороны, уже не чувствует связи между личной жертвой и общим историческим смыслом, тогда

поражение воли становится политическим результатом длительной когнитивной обработки.

Наконец, шестой и самый глубокий объект поражения — идентичность. Когнитивная война стремится поставить под вопрос сам образ народа о себе. Она подрывает представление о собственном историческом достоинстве, о своей культурной и духовной легитимности, о праве быть самостоятельным носителем судьбы. В этом смысле она особенно тесно связана с русофобией и славянофобией, потому что здесь мы видим не только политическую вражду, но и постоянную работу по понижению целых народов в шкале исторической нормальности. Когда России или славянству навязывается образ «неполной Европы», «врождённой деспотии», «культурной вторичности» или «моральной подозрительности», то речь идёт уже не о споре интересов, а о борьбе за самую онтологическую легитимность их существования в истории.

Поэтому когнитивную войну в рамках данной статьи следует понимать как систематическую борьбу за управление восприятием, памятью, моральной интерпретацией, доверием, волей и идентичностью противника. Её высшая цель состоит в том, чтобы изменить не только мнение адресата, но и его внутреннюю способность свободно ориентироваться в мире. Она добивается не просто согласия, а внутренней перенастройки. Победа в такой войне достигается тогда, когда противник начинает видеть самого себя глазами навязанного ему образа.

Именно это понимание и позволяет перейти от теории к истории. Если когнитивная война есть борьба за душевно-духовный строй человека и народа, тогда становится понятным, почему столь важны древние механизмы устрашения, религиозные расколы, фальшивые документы, мифы о варварстве, расовые и цивилизационные схемы, а в новейшее время — медийные кампании, моральные клейма и институциональные сети влияния. Все они принадлежат к одной и той же длинной истории борьбы за сознание.

3. Древние и ранние формы когнитивной войны

Если понимать когнитивную войну как борьбу за внутренний строй восприятия, памяти, страха, доверия и воли, тогда становится очевидно, что она значительно старше и современных государств, и новейших средств массовой коммуникации. Её начало нельзя искать ни в газетной эпохе, ни в радио, ни в телевидении, ни тем более только в цифровом мире. Она возникает там, где власть, жречество, военная сила или политический центр впервые осознают, что победа достигается не одним лишь физическим сокрушением противника, но и вторжением в его душевную организацию. Иначе говоря, когнитивная война начинается тогда, когда человек становится объектом не только принуждения, но и направленного формирования его внутреннего образа мира.

В древнейших обществах это проявлялось прежде всего в неразделённости власти, мифа и сакрального образа порядка. Ранние царства и империи стремились господствовать не только над телами и территориями, но и над представлением о том, кто имеет законное право править, кто стоит под покровом богов, кто принадлежит космическому порядку, а кто есть носитель хаоса. Уже здесь мы видим важнейшую черту когнитивной войны: противник должен быть не просто побеждён, но символически низведён, выведен за пределы правильного мира, представлен не только как враг, но как существо, восставшее против самого строя бытия. Физическое поражение в таких условиях лишь завершает более глубокий акт — поражение духовно-психологическое.

Именно поэтому древняя война столь часто сопровождалась ритуализированным устрашением. Победа демонстрировалась в символической форме: через надписи, барельефы, культовые жесты, процессии, публичное перечисление покорённых народов, изображения униженных врагов, возложение на правителя сверхчеловеческого или богоизбранного ореола. Всё это не было простым украшением власти. Перед нами ранняя работа с коллективным сознанием. Победённый должен был пережить собственную обречённость как нечто заранее предрешённое, а победитель — явиться не просто сильным, а космически санкционированным. Так формировалась та душевная атмосфера, в которой сопротивление начинало казаться не только опасным, но и бессмысленным.

В этом отношении особенно важен древний Восток, где политическая и сакральная функции власти были теснейшим образом соединены. Ассирийские, вавилонские, персидские и иные державные формы правления использовали не только армию и административное принуждение, но и язык устрашения, величия, неизбежности. Надписи о карательных походах, описания расправ, демонстрация тотальной мощи царя имели значение не просто хроники, а направленного воздействия на воображение подданных и врагов. Здесь уже ясно видно, что когнитивная война действует прежде всего через душу ощущающую: через страх, потрясение, подавленность, чувство собственной малости перед лицом непреодолимой силы. Но затем этот первичный удар закрепляется и в душе рассудочной, когда образ непобедимого владыки становится устойчивой схемой объяснения мира.

Античный мир развивает эти механизмы дальше и делает их более тонкими. У греков и римлян война всё ещё остаётся делом силы, но всё заметнее становится значение славы, репутации, политической символики, публичного рассказа о себе и враге. Уже не достаточно победить — необходимо быть признанным носителем порядка, цивилизации, меры и законности. Отсюда возникает одна из важнейших форм ранней когнитивной войны: противопоставление «цивилизованного» и «варварского». Это различие имело, разумеется, культурный и политический смысл, но его действие шло глубже. Оно создавало внутреннюю моральную карту мира, в которой один народ воспринимался как носитель нормы, а другой — как угроза этой норме. С этой точки зрения образ варвара был не описанием, а оружием. Он позволял заранее понизить другого в иерархии человеческой полноценности.

Такое понижение имело далеко идущие последствия. Как только противник начинает мыслиться не как равный соперник, а как варвар, хаотический элемент, носитель избытка, неразумия или природной грубости, против него становится легче морально разрешить то, что в отношении равного вызвало бы сомнение. Здесь мы встречаем один из самых устойчивых законов когнитивной войны: прежде чем применить к противнику предельное насилие, его необходимо когнитивно переработать, сделать внутренне чужим, менее достойным сочувствия, менее включённым в пространство общей нормы. Этот механизм, столь древний по происхождению, позднее будет многократно воспроизводиться и в конфессиональных, и в имперских, и в расовых, и в современных политико-моральных формах.

Не менее важна и роль слуха как одного из древнейших инструментов воздействия. Там, где ещё не существовало современных медиа, человеческое сообщество уже обладало мощным носителем психического заражения — устной передачей образов страха, слухов о жестокости врага, рассказов о его коварстве, чудовищности или, напротив, непобедимости. Слух действует именно потому, что он обращается не к проверке, а к предварительно возбужденной душевной восприимчивости. Он не столько сообщает, сколько заражает. Он проникает в коллективное переживание раньше, чем оформляется

ясное суждение. В антропософском смысле можно сказать, что слух — это раннее орудие захвата душевного пространства до того, как в дело вступает сознательная критика. Поэтому он столь живуч и в древности, и в новейшую эпоху.

Рядом со слухом стоит и другой древний инструмент — мифополитическая интерпретация противника. Войны древности редко объяснялись только прагматически. Они помещались в рамку судьбы, воли богов, нарушения священного порядка, мести, очищения или мирового противостояния. Тем самым событие сразу поднималось из уровня факта на уровень судьбоносной картины мира. А это и есть одно из существенных действий когнитивной войны: не дать человеку переживать событие как ограниченное и частное, но встроить его в такую систему образов, где реакция на него становится почти предрешённой. Если противник уже поставлен на место хаоса, святотатства, мятежа против неба или законного царя, тогда и борьба с ним переживается не как интерес, а как моральная и даже космическая обязанность.

Особое место среди ранних форм когнитивной войны занимает сознательное использование обмана, дезориентации и скрытого воздействия. Уже в древних политических традициях можно увидеть понимание того, что врага можно ослаблять не только прямым ударом, но и разрушением его доверия, расколом его среды, подталкиванием его к неверным решениям, манипулированием его ожиданиями. Здесь особенно показателен древнеиндийский политический опыт, где искусство власти мыслится как сочетание силы, хитрости, разделения, подкупа, дезинформации и психологического расчёта. Это чрезвычайно важно, потому что показывает: очень рано в истории человек был понят не просто как физическая единица, а как носитель представлений, на которые можно воздействовать системно и целенаправленно.

Но всё же главная особенность ранних форм когнитивной войны заключается в их неотделимости от целостного строя жизни. В древности ещё нет отдельной «информационной сферы» в современном смысле, зато есть единое пространство мифа, ритуала, царского образа, священного порядка, коллективной памяти и политического действия. Поэтому воздействие на сознание оказывается здесь не специальным приложением к войне, а самой тканью власти. В этом состоит важное отличие древних форм от современных: сегодня когнитивная война технологически специализирована, тогда как в древности она была встроена в саму структуру сакрально-политического мира. Однако по существу действует тот же принцип: победить — значит заставить другого видеть реальность в формах, выгодных победителю.

Если теперь взглянуть на всё это в перспективе истории, становится ясно: древние и ранние формы когнитивной войны уже содержат почти все её базовые механизмы. Здесь есть устрашение, мифологизация, символическое унижение, понижение человеческого статуса врага, работа со слухом, создание моральной рамки, легитимация собственного насилия через образ противника, соединение силы и рассказа о силе. Меняются эпохи, но эти элементы не исчезают. Позднее они лишь получают новые носители: богословский трактат, печатную брошюру, дипломатический памфлет, газету, фотографию, кинохронику, телевидение, социальную сеть, аналитический доклад, правозащитный язык, сетевой мем.

Отсюда следует первый существенный вывод для всей статьи. Когнитивная война не есть побочный продукт техники, а одна из древнейших форм борьбы за человека как душевно-духовное существо. Она всегда направлена на то, чтобы овладеть не только внешним поведением, но внутренней ориентацией человека и народа. И именно поэтому дальнейший исторический путь приводит нас от этих ранних и универсальных

механизмов к более специфической европейской линии — к длительному формированию образа православного Востока как мира иного, неполного и подозрительного

4. Предыстория линии «Запад против Востока»

Чтобы понять, каким образом позднее стало возможным систематическое когнитивное давление на Россию и славянский мир, необходимо вернуться к более раннему и более глубокому историческому пласту — к длительному духовно-политическому расхождению латинского Запада и православного Востока. Здесь ещё нет русофобии в собственном смысле слова, здесь ещё не сложился специальный антироссийский сюжет, однако уже возникает та смысловая матрица, внутри которой Восток Европы начинает восприниматься как нечто отступившее от нормы, неполное, подозрительное и подлежащее не равному признанию, а внешнему суждению. Поэтому линия «Запад против Востока» должна рассматриваться как важнейшая предыстория будущих антиславянских и антироссийских когнитивных конструкций.

Сам раскол между Западной и Восточной Церковью нельзя понимать упрощённо, как одномоментный разрыв, будто всё решилось только в одном символическом году. Духовное расхождение накапливалось длительно: различались литургические традиции, язык богословия, тип церковной дисциплины, отношение к первенству Рима, а глубже всего — сама внутренняя форма церковного и культурного самосознания. Латинский Запад всё более тяготел к централизации, юридизации и выработке единой нормы, тогда как греческий Восток сохранял иной тип церковного бытия, более связанный с соборностью, с мистериальным наследием раннего христианства и с иной духовной ритмикой культурной жизни. В антропософской перспективе здесь можно сказать, что речь шла не просто о конфликте институтов, а о расхождении двух способов переживания христианского космоса: один всё более стремился к внешнему нормативному единству, другой удерживал большую связь с внутренней созерцательной традицией и с живым многообразием духовных центров.

Символическое значение 1054 года состоит именно в том, что длительное расхождение получило зримую форму и было пережито как разрыв. Но для темы когнитивной войны ещё важнее не сам канонический эпизод, а то, что после него усиливается производство взаимных образов, и особенно латинских образов Востока как мира уклонившегося, испорченного, ненадёжного. Всякая глубокая историческая поляризация почти неизбежно сопровождается не только институциональным разрывом, но и созданием такой картины другого, которая оправдывает собственную правоту и превращает различие в духовную неполноценность оппонента. Именно это и происходит постепенно в латинской полемике против Византии. Восток начинает описываться не как иной, но равнозначный христианский мир, а как пространство упрямства, лукавства, раскольничества, ослабления дисциплины и отступления от должного центра церковной жизни.

Здесь уже проявляется одна из главных закономерностей когнитивной войны: различие переводится в морально-нормативную иерархию. Пока другой просто иной, с ним ещё возможен спор. Но когда другой становится «испорченным», «неполным», «упрямо отпавшим», тогда против него начинает работать уже не только богословский аргумент, но и механизм духовного понижения. В таком понижении скрыта колоссальная историческая энергия, потому что оно воздействует не только на учёные трактаты, но и на коллективное воображение. Мир, который ещё недавно мог мыслиться частью общего христианского пространства, начинает переживаться как внутренне сомнительный, как не до конца свой. Это и есть ранняя форма когнитивного вытеснения: противника не просто опровергают, а выводят на край нормы.

Антивизантийская латинская полемика имела поэтому не только догматическое, но и цивилизационное значение. Византия всё чаще представляла как мир хитрый, изнеженный, склонный к интригам, ослабленный в вере и лишённый подлинной твёрдости. Перед нами уже не спор о частных вопросах, а постепенное конструирование целого культурно-психологического образа. Восток оказывается удобным носителем отрицательных качеств, на фоне которых Запад может переживать самого себя как более дисциплинированный, более правильный, более зрелый и более законный центр христианской истории. Так возникает важнейшая смысловая ось: не просто различие двух форм христианства, а скрытая иерархия, в которой латинское начинает мыслиться как полная норма, а греко-православное — как форма ущербная или уклоняющаяся.

Переломный смысл 1204 года состоит именно в том, что эта символическая переработка Востока получает уже не только полемическое, но и катастрофически историческое выражение. Захват Константинополя крестоносцами нельзя рассматривать как случайный эксцесс, не имеющий отношения к духовной истории Европы. Напротив, здесь обнаруживается, насколько далеко зашла внутренняя деформация восприятия православного Востока в западном сознании. Если крупнейший центр восточного христианства может быть подвергнут разорению в ходе предприятия, формально направленного на защиту христианского мира, значит Восток уже в значительной степени перестал переживаться как равноправный «свой». Он оказался поставлен в промежуточное положение: ещё вроде бы христианский, но уже недостаточно христианский, уже подлежащий принуждению, подчинению и наказанию.

В этом и состоит подлинное когнитивное значение 1204 года. Это не только военная катастрофа Византии, но и великое символическое смещение внутри европейского сознания. После этого православный Восток всё труднее мыслится как одна из полноценных форм христианской ойкумены. Он всё чаще оказывается объектом внешнего суда, исправления, подозрения и цивилизационного покровительства. Иначе говоря, 1204 год закрепляет не просто вражду, а иерархию восприятия. Латинский Запад получает внутреннее право смотреть на Восток сверху вниз, как на мир, который утратил правильность и нуждается либо в подчинении, либо в перевоспитании, либо в вытеснении на периферию исторической нормы.

С этого момента начинает оформляться то, что можно назвать образом православного Востока как «неполной нормы». Это чрезвычайно важная формула для всей дальнейшей истории. Восток не объявляется полностью внешним, как иной религиозный мир; напротив, его особая уязвимость состоит именно в промежуточности. Он как будто близок, но не вполне; он христианский, но «неправильный»; он европейский, но не в должной мере; он сохраняет величие традиции, но будто бы утратил живой центр подлинности. Такая промежуточная маркировка особенно действенна в когнитивном отношении, потому что она позволяет не только враждовать, но и унижать. Полностью чужого боятся или отвергают. «Неполного» — снижают, исправляют, судят, лишают равного достоинства.

Именно эта логика позднее окажется чрезвычайно плодотворной для всех форм славянофобии и русофобии. Россия и православное славянство будут входить в европейское воображение уже не на пустом месте, а на фоне заранее подготовленного духовного каркаса. Когда Московия начнёт восприниматься как наследница православного Востока, на неё довольно легко перенесутся и старые подозрения: склонность к схизме, удалённость от «правильной» Европы, недостаточная прозрачность, чуждость, внутренняя неполнота. Позднейшие политические формы русофобии, конечно, будут иметь свои собственные причины и собственный словарь, но их когнитивная почва

во многом окажется подготовлена ещё в эпоху антивизантийского западного самоутверждения.

С антропософской точки зрения здесь можно заметить и более глубокий процесс. Вопрос идёт не только о конфессиональном соперничестве, но и о том, как одна культурно-историческая область начинает присваивать себе право быть мерой полноты для другой. Иными словами, латинский Запад постепенно вырабатывает образ самого себя как нормативного носителя исторической зрелости, тогда как Восток оказывается помещён в положение отстающего, искажённого или недовершённого мира. Это уже не просто внешняя полемика. Это борьба за саму душу исторического самопонимания Европы. Кто будет признан носителем центра, а кто — периферией; кто представляет норму, а кто отклонение; кто имеет право судить, а кто должен быть предметом суда — все эти вопросы здесь начинают решаться задолго до Нового времени.

Следует, однако, удержать важную меру. Было бы ошибкой прямо отождествлять антивизантийскую латинскую полемику с будущей русофобией, будто между ними нет различий и промежуточных стадий. Между Византией и Россией лежат века, и каждая эпоха вырабатывает собственные формы враждебности. Но столь же ошибочно было бы не видеть духовно-исторической преемственности. Линия «Запад против Востока» создаёт длительный навык восприятия, в котором православный мир оказывается не просто иным, а подозрительным и пониженным. А именно такой навык восприятия и составляет основу будущей когнитивной войны: ещё до фактов, ещё до конкретных конфликтов, ещё до политических столкновений уже существует предуготовленная форма взгляда, в которую легко вкладываются новые страхи и новые обвинения.

Поэтому предыстория русофобии начинается не с России как таковой, а с более раннего акта культурного и духовного расщепления Европы. Сначала конструируется образ Востока как мира неполной правильности; затем этот образ исторически переходит на православное славянство; и лишь позднее, в раннее Новое время, приобретает уже специальную антимосковскую и антироссийскую направленность. В этом смысле раскол, антивизантийская полемика и 1204 год являются не началом русофобии, но необходимой предпосылкой той долгой истории, в которой Запад всё чаще будет смотреть на Восток Европы не как на равного собеседника, а как на пространство, требующее оценки, исправления, ограничения или изоляции. Именно отсюда и следует переходить к следующему вопросу: когда и каким образом эта общая матрица «Запад против Востока» превращается уже в более узкую и целенаправленную линию — «Запад против России».

5. Начало когнитивной войны именно против России

Если в предшествующем разделе речь шла о длительном формировании западной матрицы «Запад против Востока», то теперь необходимо определить более точный исторический рубеж: когда эта общая подозрительность к православному и византийскому миру начинает превращаться уже в специальную линию против Московии, а затем и России. Это различие принципиально важно. Не всякая враждебность к Востоку есть уже русофобия, и не всякая полемика с православием есть когнитивная война против России. Но в определённый момент Европа перестаёт иметь дело только с абстрактным «восточным христианством» и сталкивается с новой исторической силой — Московским государством, которое начинает входить в западное сознание как самостоятельный объект описания, оценки, страха и символического упрощения. Именно здесь и происходит переход от широкой духовно-цивилизационной подозрительности к целенаправленному производству антимосковского образа.

Этот переход совершается не одновременно, но его решающий рубеж приходится на XVI век. До этого западное воображение знало Восток Европы преимущественно через старую византийскую оптику, через церковную полемику и через размытые представления о далёких северо-восточных землях. Однако с усилением Московии положение меняется. Московское государство становится слишком заметным, чтобы оставаться лишь периферийным элементом европейской картины мира. Оно начинает выступать как реальный субъект дипломатии, войны, торговли и религиозно-политической альтернативы. С этого момента против него уже недостаточно старого общего языка о «схизматическом Востоке»; требуется более конкретный, более предметный и более политически действенный образ. Так начинается собственно антимосковская когнитивная обработка.

Особую роль в этом процессе играет Сигизмунд Герберштейн. Его значение для истории антироссийских представлений трудно переоценить именно потому, что он создаёт не просто частный текст о чужой стране, а образец устойчивого видения Московии, который затем будет многократно воспроизводиться и перерабатываться. В его описании Московия предстает как мир своеобразный, жёсткий, деспотический, построенный на безусловном подчинении государю и на слабости свободного общественного начала. Важно не то, что Герберштейн выдумывает всё с нуля; напротив, сила его текста состоит как раз в соединении наблюдения, слуха, интерпретации и культурной предустановки. Именно поэтому его свидетельство оказалось столь действенным: оно воспринималось как респектабельное, дипломатически осведомлённое и потому будто бы объективное.

Но в когнитивной истории особенно значимо то, каким образом это описание работало. Герберштейн не просто сообщает о Московии; он помогает стабилизировать её место в западном воображении. Московия начинает мыслиться как пространство деспотизма, жёсткой покорности, политической несвободы, странных нравов и культурной непохожести на «подлинную» Европу. Иначе говоря, здесь происходит важнейший акт смысловой фиксации: Россия ещё не объявляется абсолютным врагом, но уже помещается в категорию мира, который как будто принадлежит Европе географически, но не принадлежит ей вполне духовно, политически и культурно. Так старый образ Востока как «неполной нормы» получает уже конкретное историческое тело — Московию.

С антропософской точки зрения можно сказать, что здесь закладывается не просто политический стереотип, а особая душевная форма восприятия России. Душа ощущающая получает образ чего-то холодного, жёсткого, подавляющего и чуждого. Душа рассудочная начинает усваивать объяснительную схему: Россия — это пространство естественного деспотизма и привычного рабства. А для души сознательной создаётся опаснейшая иллюзия: будто такое суждение является не предвзятым, а само собой вытекающим из реальности. В этом и состоит глубокая эффективность ранней когнитивной рамки: она подаёт исторически обусловленный взгляд как нейтральное знание.

Если Герберштейн создаёт длительную рамку восприятия, то Ливонская война превращает её уже в активную кампанию. Здесь особенно важно понять, что военный конфликт сам по себе ещё не тождествен когнитивной войне. Но Ливонская война становится именно тем моментом, когда Московия начинает изображаться не просто иной, а опасной, жестокой и почти варварской силой, против которой допустима широкая мобилизация страха и отвращения. То, что прежде существовало как описательная схема, теперь начинает работать как политическое оружие.

Во время войны формируется мощный поток текстов, слухов, хроник, памфлетов и образов, в которых москвиты изображаются как носители жестокости, азиатской

дикости, безудержного насилия и варварского отношения к побеждённым. Особенно важным становится очернение Ивана IV. Вокруг него складывается тот тип образа, который позднее можно будет назвать одной из ранних «чёрных легенд» русской истории. Иван Грозный начинает восприниматься не просто как суровый правитель своей эпохи, но как почти идеальный символ московской чудовищности. Его личность становится сосудом, в который вливаются все страхи перед Россией как таковой. Здесь действует один из важнейших законов когнитивной войны: сложный исторический организм упрощается через фигуру правителя, который превращается в наглядное олицетворение целого народа и целого строя.

Разумеется, Иван IV был фигурой тяжёлой, трагической и внутренне надломленной; в нём действительно сочетались государственная воля, религиозная напряжённость, жестокость и глубокая подозрительность. Но для когнитивной войны важно иное: западная полемика эпохи Ливонской войны не стремилась к целостному пониманию московской исторической действительности. Она выделяла и усиливала именно те черты, которые позволяли закрепить общий образ Москвы как пространства врождённого варварства. Индивидуальная драма государя превращалась в доказательство природы народа; историческая жестокость времени — в якобы сущностное свойство Московии; политический конфликт — в нравственный приговор целой цивилизационной форме.

Таким образом, Ливонская война имеет для нашей темы двойное значение. Во-первых, она переводит представление о Московии из описательно-этнографического состояния в состояние целевой политической демонизации. Во-вторых, она создаёт тот важнейший связующий мост, по которому образ «сурового и чуждого Востока» переходит в образ «опасной России», подлежащей сдерживанию не только военной, но и моральной аргументацией. С этого момента антимосковский нарратив уже не является побочным продуктом знакомства с другой страной; он становится инструментом борьбы.

Однако ещё более показательным для зрелой фазы когнитивной войны оказывается история так называемого «Завещания Петра Великого». Его значение состоит именно в том, что к началу XIX века Европа уже обладает достаточно прочной антироссийской рамкой, чтобы принять политическую фальшивку не как нелепость, а как правдоподобное раскрытие скрытой сущности России. Это чрезвычайно важно. Подделка эффективна лишь там, где сознание заранее подготовлено к её принятию. Если бы к тому времени образ России как вечной экспансионистской силы не был уже внутренне усвоен западным воображением, «завещание» не смогло бы сыграть той роли, которую оно сыграло.

Сама логика этой фальшивки предельно показательна. России приписывается будто бы заранее существующий, почти метафизически устойчивый план мирового расширения. Тем самым любое её действие можно истолковать как шаг к заранее задуманному глобальному господству. Перед нами уже не просто враждебная публицистика и не военный памфлет текущего момента, а зрелая когнитивная конструкция, превращающая геополитику в судьбу, а политического противника — в носителя почти вечного и неизменного заговора. Это и есть высшая форма демонизирующей рамки: противник объявляется не тем, кто может вести себя по-разному в зависимости от обстоятельств, а тем, чья сущность уже раскрыта раз и навсегда.

В этом смысле «Завещание Петра Великого» не является началом когнитивной войны против России. Оно появляется слишком поздно для этого. К моменту его широкого распространения уже позади и Герберштейн, и Ливонская война, и многолетняя работа по созданию образа московской и русской угрозы. Но именно поэтому эта фальшивка столь важна: она показывает, что ранние формы антимосковской подозрительности к началу

XIX века уже созрели до такого состояния, при котором можно было не просто порочить Россию, а приписывать ей исторически непрерывный преступный замысел. Здесь когнитивная война достигает новой ступени. Теперь враг не только страшен, не только жесток, не только чужд — он ещё и будто бы документально разоблачён как принципиально неисправимый.

С антропософской точки зрения подобная фальшивка особенно разрушительна потому, что поражает сразу несколько уровней душевной жизни. Душа ощущающая получает пищу для страха: Россия — сила не случайно опасная, а изначально хищная. Душа рассудочная получает удобную схему: все русские действия суть проявления одного и того же исторического плана. Душа сознательная же подвергается затемнению, потому что вместо свободного рассмотрения конкретных обстоятельств человеку предлагается соблазн «окончательного знания»: будто подлинная сущность России уже однажды раскрыта и дальнейшее понимание не требуется. Так когнитивная война убивает саму возможность живого исторического суждения.

Итак, начало когнитивной войны именно против России следует искать не в эпохе Наполеона и не в позднейших европейских русофобиях, а в более раннем переходе от общего западного недоверия к православному Востоку к специальной линии против Московии. Герберштейн закрепляет базовую рамку восприятия; Ливонская война превращает эту рамку в активную кампанию демонизации; очернение Ивана Грозного создаёт наглядную фигуру «московской чудовищности»; а «Завещание Петра Великого» демонстрирует уже зрелую стадию, когда антироссийский образ настолько укоренён, что способен поддерживать и политическую подделку, и почти мифологическую интерпретацию русской истории.

Отсюда вытекает важный вывод для всей дальнейшей статьи. Русофобия не возникает внезапно как реакция на отдельные события. Она складывается как длительная когнитивная линия, где сначала создаётся форма взгляда, затем подбираются подходящие фигуры и эпизоды, а потом на этой основе производится всё более широкая и всё более изошрённая система смыслового давления. Именно поэтому следующим шагом необходимо обратиться к одной из главных лабораторий такого давления — к Британии, где русофобный миф будет не просто поддержан, но превращён в долговременный и почти институциональный инструмент политического воображения.

6. Британия и фабрика русофобного мифа

Если на предыдущих этапах антироссийская когнитивная линия лишь складывалась и постепенно набирала устойчивость, то в британском случае она приобретает особую плотность, длительность и почти институциональный характер. Именно Британия становится одной из важнейших европейских лабораторий русофобного образа, где страх перед Россией, культурное презрение к ней и геополитическое подозрение в отношении её исторических намерений соединяются в относительно целостную систему. Здесь русофобия перестаёт быть только реакцией на отдельный конфликт и начинает работать как долговременный инструмент политического воображения. Россия изображается не просто соперником, не просто иной державой, а силой внутренне чуждой, трудно постижимой, склонной к скрытому расширению, к деспотии и к цивилизационной неполноте. Именно в Британии особенно ясно видно, как когнитивная война превращается в фабрику повторяющихся формул, которые затем переходят из века в век, меняя словарь, но сохраняя основную функцию.

Ранние английские описания России уже содержат многие черты того образа, который позднее будет только уточняться и утяжеляться. Здесь чрезвычайно важно, что английский взгляд формируется не в пустоте, а на пересечении любопытства, дистанции, культурного превосходства и политической настороженности. Английские путешественники, дипломаты и публицисты раннего периода нередко описывают Россию как пространство суровое, грубое, малоцивилизованное, подчинённое чрезмерной власти государя и лишённое тех свободных общественных форм, которые британское сознание склонно было считать признаком нормального политического развития. При этом сами наблюдения могли быть частично точными, частично поверхностными, частично обусловленными ограниченным опытом. Но в когнитивной истории важнее не простая сумма сведений, а тот тип целого, который из них складывался. А складывалось представление о России как о мире глубоко небританском, а значит и не вполне европейски нормальном.

Ранние английские тексты работали прежде всего через контраст. Британия всё более переживала себя как пространство права, торговой энергии, политического баланса и гражданской формы жизни. На этом фоне Россия подавалась как противоположность: страна привычного подчинения, слабой общественной инициативы, чрезмерной государственности и почти природной покорности населения. Так создавалась одна из главных и чрезвычайно живучих бинарных схем: свободный морской Запад против несвободного сухопутного Востока. Эта схема была удобна тем, что соединяла географию, политику и нравственную самооценку. Англичанин видел в России не просто иное государственное устройство, а отрицательное зеркало, на фоне которого британская историческая форма казалась ещё более законной и зрелой.

С антропософской точки зрения здесь уже действует глубокий механизм формирования душевной дистанции. Душа ощущающая получает образ России как холодной, тяжёлой и давящей среды. Душа рассудочная усваивает формулу: где Россия, там деспотизм, отсутствие меры и внутренняя несвобода. А для души сознательной подготавливается опасная иллюзия, будто всё это не культурно обусловленный британский взгляд, а почти естественное и беспристрастное описание действительности. Именно так и начинается фабрика устойчивого образа: он подаётся не как позиция, а как наблюдение, не как политическая конструкция, а как знание.

Однако подлинного размаха британская русофобия достигает в XIX веке, когда она тесно срастается с имперской функцией британского государства. Это чрезвычайно важный момент. До тех пор, пока Россия оставалась лишь далёкой и странной державой, негативный образ мог существовать преимущественно на уровне культурного отчуждения. Но в XIX столетии Россия становится для Британии уже не только предметом описания, но и реальным стратегическим раздражителем. Она воспринимается как континентальная сила, способная нарушать равновесие, ограничивать британское влияние, угрожать интересам империи в Восточном Средиземноморье, на Балканах, на Ближнем Востоке и в направлении Индии. Именно здесь русофобия получает новую энергию: теперь она нужна не только для объяснения чуждости России, но и для оправдания систематического недоверия к ней как к геополитическому противнику.

Викторианская эпоха особенно показательна потому, что в ней страх перед Россией оформляется как почти постоянный политический фон. Россия всё чаще изображается как скрытная, подвижная, экспансионистская сила, ведущая не открытое и понятное соперничество, а медленное, ползучее, внутренне нечестное продвижение. Отсюда рождается одна из самых устойчивых британских формул: Россия опасна не только тем, что сильна, но и тем, что непонятна, непрозрачна, не играет по «нормальным» правилам.

Это чрезвычайно характерная когнитивная конструкция. Противник объявляется угрожающим не просто по факту столкновения интересов, а потому, что его сама природа истолковывается как не вполне совместимая с легитимным порядком международной жизни.

Крымская война стала в этом отношении важнейшей точкой сгущения русофобного воображения. Здесь британскому обществу предлагалась уже не отвлечённая геополитическая тревога, а почти морально-политическая драма, в которой Россия выступала как чрезмерная, хищная и подрывающая равновесие сила. Существенно и то, что в подобных условиях русофобия перестаёт быть только языком внешней политики и становится частью общественного самосознания. Она начинает работать как форма воспитания чувства нормы: британскому читателю, зрителю, гражданину объясняется не только то, что Россия опасна, но и то, почему опасность России есть особый, почти самоочевидный факт истории. Иначе говоря, имперская функция русофобии состоит не просто в мобилизации против конкретного соперника, а в создании устойчивой среды, в которой антироссийская подозрительность становится почти здравым смыслом.

Именно в XIX веке происходит и другой решающий сдвиг — переход от преимущественно политического языка к более широкому расово-цивилизационному коду. Ранние тексты могли говорить о грубости, тирании и рабской привычке русского народа как о следствии политического строя. Но постепенно эта зависимость начинает переворачиваться: теперь уже сам русский народ всё чаще описывается как носитель врождённой или почти природной предрасположенности к деспотии. Иначе говоря, политическое объяснение сменяется антропологическим. Россия опасна не потому лишь, что у неё плохое правительство; она опасна потому, что в ней якобы живёт особый человеческий тип — полуазиатский, внутренне несвободный, склонный к покорности и одновременно к тяжёлой жестокости.

Этот переход чрезвычайно важен для истории когнитивной войны. Пока критикуют политический строй, остаётся возможность исторического изменения: правительство можно заменить, систему реформировать, отношения пересмотреть. Но когда отрицательные качества начинают приписываться самому народу, самой культурной природе, самой цивилизационной ткани страны, тогда возникает гораздо более устойчивая форма демонизации. Противник теперь мыслится не как временный носитель опасной политики, а как долговременная и почти естественная угроза. Именно в этом контексте британская русофобия всё чаще начинает сближаться с более широкими европейскими представлениями о России как о полуазиатском мире, географически соприкасающемся с Европой, но внутренне якобы не достигшем её исторической зрелости.

В антропософском освещении этот момент можно описать как особенно разрушительное воздействие на душу сознательную. Когда политический конфликт переводится в язык почти расовой или цивилизационной неизменности, свободное историческое суждение парализуется. Человек перестаёт спрашивать, что именно происходит, и начинает исходить из готовой сущности: «Россия такова по природе». Душа рассудочная получает здесь чрезвычайно удобную схему, потому что она упрощает мир до постоянной формулы. Но именно такая схема и есть одна из наиболее опасных побед когнитивной войны: она избавляет от необходимости понимать.

При этом британский русофобный миф замечателен не только силой своей исторической концентрации, но и способностью к переодеванию. Меняются эпохи, рушатся старые идеологические формы, исчезает откровенный расовый язык, но основная структура продолжает жить. В XIX веке Россия — варварская империя и угроза европейскому

равновесию. В более позднюю эпоху — это уже революционная или советская угроза, затем сила подрыва и идеологического заражения, ещё позже — источник тайного влияния, манипуляции, вмешательства, дестабилизации. А в новейшем словаре появляются формулы о «дезинформации», «гибридной угрозе», «авторитарном ревизионизме» и прочих понятиях, которые звучат современно и технически, но очень часто продолжают ту же самую душевную работу: представить Россию как силу особой непрозрачности, особой моральной ненадёжности и особой несоизмеримости с «нормальным» порядком.

Именно эта преемственность старых схем в современности особенно значима для нашей темы. Было бы слишком просто сказать, будто нынешний антироссийский язык всего лишь механически повторяет викторианскую лексику. Нет, слова изменились, контексты стали иными, прямые расовые формулы в публично легитимном пространстве ослабли или исчезли. Но функция во многом сохранилась. Как и прежде, Россия часто описывается не просто как государство с определёнными интересами, а как нечто качественно иное по типу исторического действия; как сила, для которой будто бы недостаточны обычные объяснения дипломатии, безопасности или борьбы за влияние; как источник почти органической склонности к обману, вмешательству, экспансии и давлению на чужую свободу. Иначе говоря, сохраняется представление о России как об исключительном противнике, чья опасность вытекает не из обстоятельств, а из самой её сущности.

Это и есть главное наследие британской фабрики русофобного мифа. Она научилась производить такие образы России, которые переживают собственную эпоху. Они могут переходить из языка путешественников в язык дипломатов, из языка газет в язык аналитических докладов, из языка цивилизационного презрения в язык безопасности и прав человека. Но за этой сменой лексики продолжает стоять одна и та же базовая операция: Россия выводится за пределы доверия, за пределы полноты европейской нормы, за пределы моральной прозрачности. Тем самым давление на неё начинает казаться не выбором интересов, а почти обязательной формой исторической самозащиты Запада.

Отсюда следует важный промежуточный вывод. Британия сыграла в истории русофобии особую роль не только потому, что создала много антироссийских текстов, и не только потому, что сталкивалась с Россией как имперский соперник. Её подлинная значимость в том, что она выработала долговечный механизм смыслового производства, в котором политика, культура, моральная оценка и антропологическое понижение противника сливаются в устойчивую конструкцию. Ранняя английская настороженность, викторианская геополитическая русофобия, переход к расово-цивилизационному языку и современные дискурсы угрозы образуют не абсолютно тождественную, но исторически родственную линию. Поэтому британский опыт является одним из ключевых узлов всей статьи: здесь особенно ясно видно, как когнитивная война превращается в длительную традицию, а традиция — в почти автоматический способ восприятия России.

7. Эволюция британской русофобии в текстах и фигурах

Британская русофобия не возникла сразу в готовом виде. Она складывалась ступенчато. Сначала Россия вошла в английское воображение как холодная, далёкая и грубая страна; затем — как страна деспотическая и «рабская»; в XIX веке — как имперская угроза британскому миру; ещё далее — как почти особый антропологический и цивилизационный тип; а в современную эпоху — как источник системного вмешательства, скрытого влияния и «острой угрозы» для британской безопасности. При этом менялись слова, но сохранялся основной нерв: Россия описывалась как не вполне

нормальный, не вполне прозрачный и потому подлежащий особому недоверию противник.

Первая стадия: Россия как «грубая» и «звероподобная» страна

Самый ранний яркий английский пример — **Джордж Тарбервиль**. Его стихотворные письма о Московии XVI века важны не только как литературная деталь, но как ранняя формула английского взгляда на Россию. В одном из самых известных мест он пишет, что страна «слишком холодна», а люди «звероподобны». Эта формула стала почти эмблемой раннего английского отчуждения от России. Современные исследования прямо отмечают, что в стихах Тарбервиля русские изображаются как «грубые» и «варварские», а сама Московия — как пространство культурной неоформленности и жёстких нравов.

Здесь важно не преувеличивать: это ещё не зрелая русофобия XIX века. Но уже здесь задан главный жест. Россия мыслится не как равноправная разновидность европейского мира, а как его холодная и тяжёлая окраина, где человеческий тип кажется грубее, обычаи — примитивнее, а сама жизнь — менее цивилизованной. Это ранняя стадия когнитивного понижения: не ещё демонизация, но уже вывод за пределы полной культурной нормы.

Вторая стадия: Россия как «совершенная тирания»

Если Тарбервиль дал эмоционально-грубый контур, то **Джайлс Флетчер** придал ему политическую и почти концептуальную форму. Его трактат *Of the Russe Common Wealth* вышел в 1591 году и стал одним из самых влиятельных английских текстов о Московии раннего Нового времени. Само устройство книги показывает намерение автора: он описывает государственный строй, общество, правосудие, церковь, нравы и «общинный» слой населения, то есть претендует не на случайные впечатления, а на целостный диагноз России.

Позднейшие библиографические и выставочные описания этого трактата сводят его суть предельно ясно: Флетчер изображал власть царя как **«совершенную тиранию»**, а подданных — как **«невежественных рабов»**. Именно в таком виде текст и вошёл в британскую культурную память. Важно, что здесь Россия уже не просто «грубая», а **политически дефектная по существу**: тирания и рабская привычка становятся не случайным состоянием, а основным объяснительным ключом.

Это принципиальный шаг вперёд. С этого момента британская линия строится не только на чувстве отталкивания, но и на более устойчивой формуле: Россия — это государство, где несвобода является не отклонением, а нормой. То есть Россия представляется не просто чужой, а **противоположной** английскому политическому идеалу. Именно эта связка — «Россия = тирания + привычка к подчинению» — потом будет воспроизводиться столетиями в разных словарях.

Третья стадия: Россия как страна культурной недоразвитости

Следующий важный автор — **Самюэл Коллинз**, чья книга *The Present State of Russia* вышла в 1671 году. Это уже не елизаветинская эпоха первых столкновений, а более поздний и внешне более осведомлённый взгляд. Коллинз не был просто случайным наблюдателем; его текст воспринимался как серьёзное свидетельство человека, знавшего московскую среду. Поэтому особенно существенно, что именно его книга, по оценке историков, содержала одну из самых жёстких английских критик интеллектуальной и художественной жизни России XVII века.

У Коллинза старый мотив тирании дополняется новым мотивом — **культурной неполноценности**. Если у Флетчера главный акцент был на государственном строе и общественной несвободе, то у Коллинза усиливается представление о России как о мире, в котором слабо развиты утонченность, изящные искусства, интеллектуальная самостоятельность и вообще высшая культурная жизнь. Иными словами, русофобная схема расширяется: Россия оказывается не только политически несвободной, но и **культурно отсталой**.

Для когнитивной войны это чрезвычайно важно. Политический противник может внушать страх, но культурно пониженный противник внушает ещё и презрение. А презрение — более устойчивое чувство, чем страх. С этого времени британская линия всё чаще будет сочетать два мотива сразу: Россия опасна и Россия ниже по типу развития.

Четвёртая стадия: имперский поворот XIX века

Настоящая зрелость британской русофобии наступает в XIX веке. Здесь главным является уже не отдельный путешественник и не моралист-наблюдатель, а **имперская функция образа России**. Британия перестаёт видеть в России просто странную северную державу. Она начинает видеть в ней **системного соперника** — силу, способную угрожать Османской империи, Балканам, Восточному Средиземноморью, Персии, путям к Индии и общему европейскому равновесию. Эту стадию лучше всего воплощает **Дэвид Уркварт**.

Уркварт важен не только как автор книги *England & Russia* (1835), но и как организатор устойчивой антирусской мобилизации британского общественного мнения. Современники и позднейшие историки прямо указывали, что он сыграл исключительную роль в формировании именно **британского общественного мнения о России**. В том же 1835 году он создал периодическое издание *The Portfolio*, где публиковал российские государственные бумаги и материалы, подававшиеся как разоблачение русской политики. Историки Крымской войны отмечают, что это был сознательный русофобный медийный проект, рассчитанный на впечатление и политическую мобилизацию.

У Уркварта происходит решающий сдвиг. Россия уже не просто тирания и не просто культурно тяжёлый мир. Она превращается в **активную, скрытую, экспансионистскую угрозу**. В ранних английских текстах Россия была прежде всего внутренне плохим государством. У Уркварта она становится государством, чья внутренняя испорченность якобы неизбежно переходит во внешнюю агрессию. Так рождается одна из самых живучих британских формул: Россия опасна не эпизодически, а по самой логике своего исторического бытия.

Пятая стадия: от геополитики к расово-цивилизационному языку

В середине XIX века русофобия в Британии начинает подпитываться ещё и более широким интеллектуальным контекстом — расовой теорией. Здесь ключевая фигура не обязательно антирусский публицист в узком смысле, а **Роберт Нокс** с его книгой *The Races of Men* (1850). Самая известная формула Нокса — «Race is everything» — выражает не частную гипотезу, а целую установку эпохи: политические и культурные различия всё чаще истолковываются как производные от самого «расового» состава народов.

Для истории британской русофобии это означает важнейший перелом. Теперь отрицательные качества России можно было объяснять уже не только государственным устройством или исторической отсталостью, а **самим человеческим типом**, который будто бы лежит в её основе. Даже там, где конкретные авторы не формулировали это

предельно грубо, сам язык эпохи позволял переходить от тезиса «в России плохая система» к тезису «в России другой, менее зрелый или менее свободный тип человека». Это и есть расово-цивилизационный сдвиг: политический враг антропологизируется.

Именно в этом контексте поздневикторианские и околотовикторианские описания России всё чаще колеблются между двумя регистрами: с одной стороны, «экспертный» рассказ о специфике русской истории; с другой — устойчивое ощущение, что Россия представляет собой **полуевропейский, полуазиатский мир**, не вполне вошедший в нормальную траекторию свободы, права и самоуправления. Даже когда прямой расовый язык не выносится на первый план, сама рамка уже работает: Россия рассматривается как **цивилизация недостаточной полноты**.

Шестая стадия: «респектабельная» экспертность как новая форма старого мифа

Очень показателен здесь **Дональд Маккензи Уоллес** и его книга *Russia* (1877). Она важна именно потому, что выглядит уже не памфлетом и не крикливой агитацией, а солидным трудом наблюдателя, который, по его собственным словам, прожил в России шесть лет и строил книгу на длительном личном изучении страны. В этом и заключается её историческая роль: старые схемы начинают закрепляться не только в жанре публицистической атаки, но и в жанре **респектабельного знания о России**.

Уоллес интересен именно своей амбивалентностью. Он не сводится к грубой демонизации. Но именно такой автор и особенно важен для эволюции русофобии: он не кричит, а **нормализует** особость России как объекта постоянного внешнего толкования. У него Россия представляется как самобытный, тяжёлый, особым образом сложившийся мир, который требует объяснения специалиста и потому почти автоматически выводится из пространства простой европейской сопоставимости. Здесь русофобия смягчается по тону, но укрепляется как **экспертная рамка**: Россия уже не просто осуждается, а научно описывается как случай особой цивилизационной отклонённости.

Это важный момент. Враждебный миф делается долговечнее именно тогда, когда перестаёт выглядеть мифом. Когда Россия описывается уже не языком крика, а языком компетентности, прежние подозрения получают вид беспристрастного знания. В этом смысле Уоллес — не крайний русофоб, а фигура перехода от публицистической вражды к более устойчивому британскому режиму «объяснения России».

Седьмая стадия: позднеимперская геополитизация России

В конце XIX века линия получает ещё одно развитие — через фигуру **Джорджа Керзона** и его книгу *Russia in Central Asia in 1889 & the Anglo-Russian Question*. Уже сам заголовок показывает, что Россия окончательно помещается в британскую картину мира как **стратегическая проблема**. Теперь её надо не просто понимать и не просто бояться; её надо учитывать как фактор давления на имперскую архитектуру Британии.

У Керзона важен не отдельный ярлык, а сама логика оптики. Россия связывается с «вопросом», требующим постоянной британской бдительности. Это уже не культурная экзотика и не единичная угроза. Это долговременный **геополитический сюжет**, встроенный в британское стратегическое мышление. Здесь русофобия достигает высокой степени институционализации: она становится частью языка государственной рассудочности, частью имперского расчёта, частью картографического мышления.

В чём состоит внутренняя эволюция этой линии

Если свести всё сказанное в короткую формулу, то британская русофобия развивается по такой лестнице:

сначала Россия — **грубая страна грубых людей**;
потом — **тирания и народ привычного подчинения**;
затем — **культурно неполный мир**;
далее — **имперская угроза британскому порядку**;
затем — **почти особый антропологический и цивилизационный тип**;
и наконец — **постоянный объект экспертного и стратегического подозрения**.

То есть развитие шло не от нуля к чему-то совершенно новому, а от раннего культурного отталкивания к всё более сложным и легитимным формам того же понижения. Старый мотив «варварства» не исчезает — он просто переводится в новый словарь: сначала политический, потом расово-цивилизационный, потом экспертный, потом стратегический.

Современная преемственность: новый язык, старая функция

В современной Британии уже не употребляют публично язык XVI или XIX века. Но структура восприятия России во многом остаётся родственной старой. Это особенно видно по официальным документам. В **докладе Комитета по разведке и безопасности парламента Великобритании о России 2020 года** Россия рассматривается как источник угроз в сферах киберопераций, дезинформации, влияния и работы с российскими элитами в Британии. В **обновлённом Интегрированном обзоре 2023 года** правительство Великобритании называет Россию **«наиболее острой угрозой»** для своей безопасности.

Разумеется, современный британский язык строится на реальных конфликтах, киберугрозах, войне на Украине и вопросах безопасности. Поэтому было бы неверно механически объявлять его простой копией викторианской русофобии. Но преемственность функции всё же заметна. Как и раньше, Россия описывается не как обычный противник среди прочих, а как **особый тип угрозы**: непрозрачный, системный, склонный к скрытому действию и выходящий за рамки обычной политической конкуренции. Именно эта исключительность и роднит современные формулы с более старой британской традицией.

Итог

Эволюция британской русофобии хорошо видна именно по авторам и книгам.

Тарбервиль даёт грубый образ «звероподобной» Московии.

Флетчер превращает этот образ в политическую формулу тирании и рабской покорности.

Коллинз добавляет мотив культурной неразвитости.

Уркварт переводит всё это в имперский язык стратегической угрозы и сознательной антирусской мобилизации общественного мнения.

Нокс даёт эпохе расовый словарь, через который русская проблема может читаться как проблема человеческого типа.

Уоллес закрепляет подозрение в респектабельном жанре экспертного знания.

Керзон встраивает Россию в позднеимперскую карту британской безопасности.

А современные официальные документы Британии продолжают эту линию уже в языке «влияния», «киберугроз», «дезинформации» и «острой угрозы».

Главный вывод таков: британская русофобия исторически эволюционировала не через отказ от старых схем, а через их **перепаковку**. Менялись жанры — письмо, трактат, памфлет, антропологическая книга, геополитический труд, парламентский доклад.

Менялись слова — «варварство», «тирания», «раса», «экспансия», «влияние», «угроза». Но сохранялась одна и та же когнитивная операция: Россия выводилась за пределы нормального доверия и описывалась как противник особого рода, по отношению к которому подозрение заранее считается разумным и морально оправданным.

8. Франция: Россия как ложная Европа

Французская линия русофобии имеет особую природу и потому заслуживает отдельного рассмотрения. Если в британском случае на первый план особенно ясно выступают имперский расчёт, стратегическая подозрительность и идея России как внешней угрозы равновесию, то во Франции антироссийское воображение часто принимает более сложную и утончённую форму. Здесь Россия нередко изображается не просто как опасная сила, но как **ложная Европа**: внешне причастная европейской истории, европейской культуре и даже европейскому языку образованности, но внутренне будто бы не достигшая подлинной свободы, меры и духовной зрелости. Именно поэтому французская русофобия особенно важна для темы когнитивной войны: она действует не только через страх, но и через культурно-нравственное понижение, через представление о России как о мире, который выглядит европейским, но в сущности якобы остаётся иным.

Прежде всего необходимо различать несколько слоёв французского отношения к России. Здесь можно выделить, по меньшей мере, четыре взаимосвязанные формы: геополитическую русофобию, цивилизационную русофобию, конфессиональное отчуждение и, наконец, общую формулу России как внешне европейской, но внутренне чуждой. Все эти слои не всегда совпадают по времени и не всегда одинаково выражены у разных авторов, но вместе они образуют довольно устойчивую смысловую конструкцию. В ней Россия становится не просто политическим соперником Франции, а предметом особого духовно-культурного подозрения.

Геополитическая русофобия во французской традиции особенно заметна в те эпохи, когда Россия воспринимается как сила, нарушающая европейское равновесие и угрожающая французскому историческому положению на континенте. Здесь Россия предстает как чрезмерная держава: огромная по пространству, тяжёлая по государственному строю, склонная к продвижению и давлению, опасная уже одним фактом своего роста. В этой оптике её мощь переживается не как обычная сила большого государства, а как нечто качественно тревожное. Сам размер России, её способность выдерживать исторические удары, её трудная податливость внешнему воздействию — всё это начинает восприниматься как проблема не только политическая, но почти цивилизационная. Так рождается одна из важнейших французских формул: Россия есть сила, чья материальная масса соединена с внутренней непрозрачностью, а потому её невозможно вполне встроить в понятный и уравновешенный европейский порядок.

Однако французская линия не исчерпывается геополитикой. Более глубокое воздействие принадлежит именно цивилизационной русофобии. Её смысл в том, что Россия рассматривается как страна, которая как будто усвоила внешние формы Европы, но не прошла её внутреннего пути. Здесь особенно важен мотив подражательности: Россия будто бы взяла у Европы язык аристократической культуры, государственные формы, внешнюю отделку образованности, но не приобрела самого главного — свободного гражданского духа, меры, внутренней правовой культуры, подлинной индивидуальности и зрелого исторического самосознания. В таком взгляде Россия становится не просто «отсталой» страной, а страной **мнимой европейскости**, где форма отделена от сущности.

С антропософской точки зрения здесь работает очень характерный для Запада механизм. Душа рассудочная склонна судить по уже установленной исторической норме: если Европа понимается как путь к определённой форме свободы, права и культурной индивидуализации, тогда всё, что не укладывается в эту схему, объявляется либо недоразвитым, либо ложным подобием. Но в действительности разные цивилизации проходят различные ритмы исторического становления. Ошибка французского цивилизационного высокомерия заключалась именно в том, что оно стремилось измерять Россию французской мерой и, не находя полного совпадения, делало вывод не о различии исторического типа, а о его неполноценности. Тем самым сравнение превращалось в понижение.

Именно на этом месте возникает одна из самых влиятельных фигур французской русофобии — образ России как **неподлинной Европы**. Этот образ особенно силён потому, что он не отталкивает Россию полностью за пределы европейского мира, а удерживает её в промежуточном положении. Россия не представляется чем-то совершенно внешним, как, скажем, далёкая экзотическая цивилизация. Напротив, она опасна именно своей двусмысленностью: она слишком близка, чтобы быть совсем чужой, и слишком чужда, чтобы быть признанной вполне своей. В этом и состоит когнитивная сила французской конструкции. Противник, который находится в промежутке между «своим» и «чужим», вызывает не только страх, но и раздражение, подозрение, постоянную потребность в разоблачении его «ложной формы».

Наиболее яркое выражение эта линия получает в тех французских текстах, где Россия описывается как страна фасада: блеск двора, европеизированная элита, заимствованные формы просвещения и государственности — и одновременно, как полагают эти авторы, глубокая внутренняя несвобода, привычка к повиновению, отсутствие самостоятельной гражданской ткани и почти органическая зависимость общества от власти. Так возникает крайне устойчивая схема: внешняя европейская оболочка и внутренняя азиатская или деспотическая сущность. В этом смысле французская русофобия во многом тоньше британской. Она не всегда кричит о «варварах»; она чаще говорит о **маске, о неудавшемся подражании, о несоответствии внешней формы внутреннему содержанию**. Но по своему действию такая схема не менее разрушительна, потому что она подрывает саму возможность воспринимать Россию как подлинный и самостоятельный исторический мир.

Третий слой — конфессиональное отчуждение. Французское сознание, особенно там, где оно связано с католической традицией, долгое время воспринимало православие как форму церковности ущербную, зависимую от государства, лишённую должной институциональной стройности и универсальности. Здесь старый западный спор с восточным христианством получает уже не византийскую, а русскую направленность. Русская церковь может восприниматься как слишком тесно связанная с государством, а следовательно — как не вполне свободная в своей духовной жизни; сама религиозность России — как величественная по внешнему обряду, но недостаточно очищенная внутренней дисциплиной, ясностью и интеллектуальной оформленностью. Это опять-таки не просто богословская критика. Это форма духовного понижения, в которой религиозный Восток предстает как мир большей тяжести, меньшей прозрачности и меньшей исторической зрелости.

В антропософском освещении здесь можно заметить и более глубокий конфликт. Французская культурная традиция, особенно после её длительного пути через католицизм, классицизм, Просвещение и революционное наследие, всё сильнее тяготела к ясной форме, к рациональной артикуляции, к нормативности, к подчёркнутому человеческому

самоутверждению в истории. Русский же религиозный и культурный тип развивался иначе: в большей связи с соборным чувством, с трагической глубиной, с терпением исторического пространства и с менее рационализированной душевной структурой. То, что для России было иным типом духовной жизни, для французского сознания нередко выглядело как недостаток оформления. Так различие духовных стилей превращалось в конфессиональное отчуждение и затем — в культурную иерархию.

Особенно характерно то, что во французской линии Россия нередко оказывается связана с Азией не географически, а символически. Она мыслится как мир, стоящий на границе: слишком европейский, чтобы быть просто Востоком, и слишком восточный, чтобы быть полноценно Европой. Эта промежуточность даёт французской русофобии её особую остроту. Россия здесь не просто «другая», а как бы нарушающая чистоту европейской самотождественности. Она напоминает Европе о том, что Европа не совпадает с одним лишь латинско-романским или западно-католическим типом исторического развития. Но именно это напоминание и оказывается невыносимым для сознания, привыкшего считать собственную форму универсальной. Тогда Россия и начинает описываться как искажённое зеркало Европы: похожая и непохожая, близкая и чужая, принявшая форму, но не обладающая сущностью.

Отсюда и возникает французская формула России как мира внешне европейского, но внутренне иного. Она может выражаться в разных словах: деспотизм, азиатчина, рабская привычка, неполная цивилизация, отсутствие гражданственности, чрезмерная зависимость личности от государства. Но за всем этим стоит одна и та же мысль: Россия не признаётся равноправным вариантом европейской истории. Её участие в Европе как будто всё время берётся под сомнение, а её культурные достижения — переживаются как нечто внешнее, поверхностное или не вполне укоренённое. В этом и состоит специфическая когнитивная сила французской русофобии: она не столько грубо выталкивает Россию из Европы, сколько удерживает её в положении постоянного недоказанного права на принадлежность к ней.

Такой тип воздействия особенно опасен, потому что действует не только на внешний образ страны, но и на её внутреннее самочувствие. Если народ длительно сталкивается с формулой, согласно которой его европейскость сомнительна, его культура вторична, а его историческая форма ложна, то удар наносится уже по душевной самооценке и по идентичности. Душа ощущающая начинает переживать унижение и реактивную обиду; душа рассудочная может начать строить защитные или, напротив, самообвинительные схемы; душа сознательная испытывает давление извне, требующее либо доказать свою полноценность на чужих условиях, либо отказаться от собственной меры. Именно поэтому французская линия столь важна для истории когнитивной войны: она работает тонко, но глубоко, превращая спор цивилизаций в вопрос о подлинности исторического бытия.

Итак, французская русофобия строится как сложное соединение геополитической тревоги, цивилизационного высокомерия, конфессионального отчуждения и постоянного сомнения в подлинной европейскости России. Россия здесь не просто противник и не просто чужой мир. Она становится образом **ложной Европы** — мира, который как будто бы заимствовал форму, но не достиг сущности; который присутствует в европейской истории, но переживается как внутренне иной; который слишком значителен, чтобы его игнорировать, и слишком непохож, чтобы признать его равным. Именно эта двойственность и делает французский вариант русофобии столь устойчивым и столь плодотворным для последующих европейских когнитивных конструкций. Следующий шаг логично сделать в сторону Германии, где антирусский линия ещё теснее

срастается со славянофобией и где понижение другого исторического мира в конце концов переходит уже в язык расовой войны.

9. Германия: от славянофобии к расовой войне

Немецкая линия в истории русофобии и славянофобии имеет особую жёсткость, потому что здесь страх перед Россией сравнительно рано срастается с более широким страхом перед славянским Востоком как таковым. Если во французской традиции Россия часто выступает как ложная Европа, а в британской — как имперская угроза и цивилизационно чуждая сила, то в германском случае антироссийский мотив нередко включается в более обширную схему: существует некий восточный славянский мир, демографически массивный, культурно сомнительный, политически опасный и потому требующий сдерживания, подчинения или вытеснения. Именно поэтому германский путь особенно важен для понимания когнитивной войны: здесь понижение другого постепенно проходит путь от культурной и политической подозрительности к полноценной расовой войне.

Уже в XIX веке в немецком пространстве усиливается страх перед славянским Востоком и, в особенности, перед панславизмом. Сам панславизм был многообразным движением, исходившим из идеи культурного и политического сближения славянских народов, но в германском и австро-германском восприятии он очень часто превращался в образ единой восточной угрозы, стоящей за поляками, чехами, южными славянами и, в предельной форме, за Россией. Современные историки прямо указывают, что в Германии и Австро-Венгрии страх перед русским панславизмом был широко распространён и подпитывал даже мысли о превентивной войне; при этом реальное влияние панславистской идеологии на решения российского правительства было куда менее прямым, чем это представлялось немецким военным и публицистам.

Особенно показателен в этом отношении случай саксонского историка **Генриха Вуттке**. Как показывает новейшее исследование германо-чешского антагонизма, в 1846 году Вуттке опубликовал памфлет ***Polen und Deutsche***, где предостерегал против панславизма и утверждал, что поляки намерены убивать немцев; та же тревога побудила его участвовать в создании объединения для «сохранения немецкого дела на восточных границах». Для нашей темы важно не только само содержание памфлета, но и его функция: славянский сосед здесь уже не просто политический соперник, а почти естественный носитель заговора, насилия и угрозы немецкому историческому пространству. Так страх перед конкретным конфликтом начинает перерастать в долговременную схему восприятия Востока как зоны этнической и цивилизационной опасности.

В антропософском освещении здесь особенно заметен переход от политической тревоги к душевной деформации восприятия. Душа ощущающая захватывается образом восточной массы, которая будто бы нависает над германским пространством; душа рассудочная строит удобную схему: славянский Восток — это коллективное тело угрозы, лишённое внутренней меры и склонное к давлению на немецкий порядок; а душа сознательная всё больше теряет способность различать между конкретным историческим конфликтом и заранее готовой мифологемой. Именно в этой точке славянофобия становится особенно плодотворной: она позволяет воспринимать разные восточноевропейские народы не как множественность исторических субъектов, а как одну большую проблему Востока. Эта схема будет особенно востребована в эпоху мировых войн.

Первая мировая война дала германской славянофобии и русофобии мощнейший импульс. В условиях войны страх перед Россией перестаёт быть делом публицистов и

интеллектуалов и превращается в массовую мобилизационную эмоцию. Энциклопедия Первой мировой войны отмечает, что германская пропаганда, особенно после русского вторжения в Восточную Пруссию в 1914 году, активно работала с образом «азиатского варварства»: русские солдаты изображались как «полуазиатские казачьи орды», грязные, неграмотные, грубые и склонные к зверствам, а истории о насилии в Восточной Пруссии использовались для сплочения общества и поддержки войны. Здесь мы видим уже не просто неприязнь к России, а типичную для когнитивной войны переработку противника в фигуру цивилизационного ужаса.

Война радикализирует старую схему. Русский и шире восточнославянский мир изображается не просто как военный противник, а как вторжение неевропейской, почти доисторической силы в пространство германской культуры. Это очень важный шаг. До тех пор, пока враг остаётся политическим противником, возможно признание его исторической субъектности. Но когда он превращается в «азиатское варварство», его уже легче мыслить как материал для подавления и исторического вытеснения. Первая мировая война, таким образом, не создаёт германскую славянофобию с нуля, но резко усиливает её эмоциональную насыщенность и приближает к расовому языку, который в межвоенный период и особенно при национал-социализме получит уже системный характер.

Национал-социализм представляет собой крайнюю, предельную форму этой линии. Здесь славянофобия перестаёт быть главным образом публицистическим, школьным или пропагандистским явлением и становится принципом завоевательной и оккупационной политики. Американский музей Холокоста подчёркивает, что идея **Lebensraum** — «жизненного пространства» — предполагала германскую экспансию в Восточную Европу как стратегическую и расовую задачу; нацистское руководство видело восток Европы как пространство колонизации, переделки и подчинения во имя немецкого имперского будущего. Исследование Джона Коннелли показывает, что отношение нацистов к славянам было не всегда абсолютно однородным и тактически могло меняться, но в целом именно славянские народы Восточной Европы оказались объектом систематического расового понижения, депортаций, порабощения и массового насилия.

Здесь происходит качественный перелом: прежняя схема «культурно менее полноценного Востока» переводится в язык биополитики и расовой инженерии. Если ранее немецкая мысль могла говорить о славянах как о политической угрозе или культурно низшем элементе, то нацистский режим превращает это в практику господства над целыми народами. Федеральное агентство политического образования Германии прямо указывает, что немецкая оккупационная политика в Польше и других восточных странах была подчинена расово-идеологическим целям, связанным с порабощением и «переустройством» Европы. В этом смысле национал-социализм следует понимать не как случайную гипертрофию, а как крайнюю историческую реализацию давно зреющей схемы, в которой славянский Восток воспринимался как пространство более низкой исторической ценности.

Особенно важно, что при национал-социализме удар направляется не только против государств, но и против самой субъектности народов. Славянин здесь мыслится уже не как партнёр, не как оппонент и даже не как просто враждебная нация, а как материал для перераспределения пространства, труда и жизни. В антропософском смысле это означает предельную степень затемнения души сознательной: другой больше не воспринимается как носитель внутреннего человеческого центра, как духовно равное существо истории. Он превращается в объект учёта, сортировки, выселения, эксплуатации и уничтожения. Поэтому германский пример особенно страшен: он показывает, как когнитивное

понижение, если его достаточно долго культивировать, может завершиться не только дискриминацией, но и системой планомерного расчеловечивания.

После 1945 года открытый расовый язык в Германии был радикально дискредитирован. Однако это не означает, что все старые иерархии исчезли без остатка. Современные исследования о германских представлениях о Восточной Европе отмечают, что многие тропы — огромность, враждебность, культурная чуждость, склонность восточноевропейского пространства к насилию и нестабильности — сохранялись и после войны, в том числе в литературе об Восточном фронте и в более широком культурном воображении. Федеральное агентство политического образования Германии также подчёркивает, что анти-восточноевропейский расизм и антиславизм существуют и сегодня, но в общественных антироссийских и антир расистских дебатах часто остаются слабо распознанными. Иначе говоря, жёсткий биологический язык ушёл, но сама шкала культурной и исторической неполноценности не исчезла полностью.

Здесь, однако, требуется осторожность. Нельзя утверждать, будто послевоенная Германия сохранила прежний нацистский взгляд на славян в прямой форме. Такое утверждение было бы исторически неверным. Но можно и нужно видеть другое: после крушения открытого расизма часть старых представлений продолжила жить в более мягком и культурно приемлемом виде — как недоверие к восточноевропейскому пространству, как снижающий взгляд на «восточность», как слабая чувствительность к дискриминации славян и выходцев из Восточной Европы, как трудность признать антиславизм полноценной проблемой памяти и современности. Даже исследования о послевоенных «перемещённых лицах» в Германии показывают, что нацистская пропаганда против «славянских недочеловеков» опиралась на уже существовавшие стереотипы и помогла закрепить их в массовом восприятии.

Итак, германская линия отличается от британской и французской тем, что в ней страх перед Россией особенно тесно переплетается со страхом перед славянским Востоком вообще. XIX век даёт язык панславистской угрозы; Первая мировая война превращает его в массовую мобилизацию против «азиатского варварства»; национал-социализм доводит эту схему до расовой войны и политики порабощения; а после 1945 года, несмотря на дискредитацию открытого расизма, часть скрытых иерархий продолжает существовать в более мягких формах. Именно поэтому германский опыт занимает в истории когнитивной войны особое место: он показывает, как длительное культурное и политическое понижение другого может, при определённых условиях, перейти в систематическую практику расчеловечивания.

10. Славянофобия в Австро-Венгрии

Славянофобия в Австро-Венгрии имела особый характер и потому требует отдельного рассмотрения. В отличие от германского или британского случая, здесь речь шла не о внешнем взгляде на далёкий и чужой славянский мир, а о внутренней проблеме самой империи. Австро-Венгрия была государством, в котором значительная часть населения принадлежала к славянским народам; поэтому открытая ненависть ко всем славянам сразу была бы не просто политически невыгодной, но и практически невозможной. Однако именно по этой причине в империи развилась иная, более тонкая и более опасная форма славянофобии — не как прямой призыв к уничтожению, а как система постоянного подозрения, неравной политической оценки, иерархии лояльности и ограничения исторической субъектности славянских народов. Иначе говоря, в Австро-Венгрии славянофобия действовала прежде всего как техника внутреннего управления.

Это различие принципиально важно. Когда империя смотрит на внешний народ, она может позволить себе язык грубой демонизации. Когда же она смотрит на народы, живущие внутри её собственных границ, ей нужен иной язык: язык опеки, сомнения, дисциплины, административного недоверия и постоянной проверки на благонадёжность. Именно такой язык и вырабатывается по отношению к славянским народам Австро-Венгрии. Славяне здесь не всегда объявляются врагами в прямом смысле; гораздо чаще они переживаются как население, которое надо удерживать от самостоятельного исторического движения, от избыточной политической воли, от поиска собственных центров притяжения и, главное, от выхода из-под имперского контроля. Поэтому славянофобия в австро-венгерском варианте есть прежде всего политика удержания славян в состоянии неполной субъектности.

Особенно ясно это видно после революций 1848 года и в ещё большей степени после преобразования империи в дуалистическую монархию в 1867 году. Двойственная конструкция Австро-Венгрии означала фактическое закрепление ведущего положения двух политических центров — немецко-австрийского и венгерского, тогда как многочисленные славянские народы, хотя и составляли огромную часть населения, не получали соразмерного политического веса. Уже в самой структуре государства была зашита иерархия: одни народы признавались способными быть хозяевами истории, другие — лишь управляемым материалом. Это не всегда выражалось в грубых формулировках, но чрезвычайно сильно действовало на уровне институциональной реальности. Славянин мог жить внутри империи, служить ей, участвовать в её хозяйственной и военной жизни, но его коллективная историческая воля рассматривалась как нечто потенциально опасное.

Отсюда вытекает первая важная особенность австро-венгерской славянофобии: она была не всеобщей, а выборочно-иерархической. Империя по-разному смотрела на разные славянские группы, в зависимости от их политического поведения, географического положения, культурных связей и возможных внешних союзов. Одни группы могли считаться более управляемыми, другие — более подозрительными; одни — пригодными для использования в имперском балансе, другие — более склонными к «изменническому» самоопределению. Но при всех различиях сохранялся общий мотив: славянский элемент должен быть либо включён на вторых ролях, либо ослаблен, либо разъединён, но не должен стать полноценно самостоятельным центром силы. Так политика дифференциации превращалась в форму системного понижения субъектности.

Именно в этом контексте следует понимать образ славян как «ненадёжных» подданных. Это, пожалуй, один из ключевых нервов всей австро-венгерской линии. Славянские народы подозревались не обязательно потому, что уже совершали мятеж, а потому, что считались способными к иной лояльности, к альтернативному культурному притяжению, к выходу за пределы допустимого имперского послушания. Их ненадёжность понималась не столько как доказанный факт, сколько как почти заранее предполагаемое свойство. Здесь действует типичная для когнитивной войны логика: группа помещается в рамку подозрения ещё до конкретного проступка. И тогда всякая её политическая активность начинает толковаться не как естественное проявление народной жизни, а как симптом глубокой нелояльности.

С антропософской точки зрения эта форма подозрения особенно разрушительна, потому что она действует сразу на нескольких уровнях душевной жизни. Душа ощущающая имперского центра постоянно подпитывается тревогой: славяне многочисленны, внутренне не до конца свои, могут быть увлечены чуждым влиянием. Душа рассудочная строит из этого схему: славянский элемент необходимо сдерживать, дозировать, уравновешивать, не допуская его до полноты политического самостояния. А душа

сознательная всё меньше способна видеть в этих народах самостоятельные духовно-исторические индивидуальности; вместо этого она воспринимает их как массу, как проблему управления, как материал государственной инженерии. Так подозрение становится почти естественным стилем власти.

Особенно важным источником этого подозрения был страх перед русофильством и панславизмом. Для Австро-Венгрии оба этих феномена означали не просто культурную симпатию к восточному славянству или идею общеславянской близости, а угрозу распада самой имперской конструкции. Если славянские народы начинают видеть в России не только далёкую державу, но и возможный символический центр, если идея славянской общности начинает перевешивать имперскую лояльность, тогда вся система внутреннего баланса оказывается под ударом. Поэтому русофильство в глазах имперской администрации и значительной части политического класса представлялось не как безобидное мировоззрение, а как дверь для внешнего проникновения и внутренней дезинтеграции.

Отсюда и особая настороженность по отношению к русинам, русофильским кругам Галиции, части православных и восточнославянски ориентированных интеллектуалов, а также к тем южнославянским движениям, которые могли соединять национальное самоутверждение с более широким славянским или сербским горизонтом. Империя боялась не только прямого вмешательства России, но и самой возможности духовного смещения лояльности. Важно подчеркнуть: здесь решающим был именно когнитивный момент. Опасной считалась не только армия и не только дипломатия, но прежде всего образ, идея, чувство принадлежности, историческая память, культурное притяжение. Иначе говоря, Австро-Венгрия очень рано почувствовала, что борьба за славян внутри империи есть борьба не просто за территории, а за их внутреннее самопонимание.

Панславизм в этом отношении играл роль почти универсального страха-усилителя. Реальные панславистские проекты были различны, часто несогласованны и далеко не всегда обладали практической силой, которая приписывалась им извне. Но для имперской оптики этого было достаточно: сама возможность вообразить славян как наднациональное единство уже казалась угрожающей. Так возникает крайне важная когнитивная конструкция: всякое усиление славянского самосознания начинает трактоваться как подозрительное уже потому, что оно может вести не к культурному развитию, а к политическому отпадению. Тем самым славянский народ лишается права на нейтральное самоопределение. Его пробуждение заранее толкуется как потенциально враждебное.

Из этого непосредственно вытекает ограничение субъектности славянских народов. Империя могла признавать их существование, их язык, их локальную культурную специфику, могла использовать их в бюрократическом, военном и хозяйственном механизме, но неохотно допускала мысль, что они имеют полное право на самостоятельное историческое действие. Иными словами, славяне признавались как население, но не вполне как носители исторической воли. Это один из самых тонких и самых долговечных механизмов понижения: народу не говорят обязательно, что он ничтожен; ему дают понять, что он не должен хотеть слишком многого, не должен становиться мерой собственного будущего, не должен сам определять политическую форму своего бытия.

Именно такая логика особенно заметна в отношении к чехам, словакам, русинам, хорватам, сербам и другим славянским группам внутри империи. Их требования часто рассматривались не по существу, а сквозь призму общей опасности для целого. В результате сама славянская политическая активность теряла легитимность в глазах

имперского центра. Там, где немецкий или венгерский интерес мог мыслиться как государственный интерес, славянский интерес слишком легко объявлялся частным, разрушительным, племенным или инспирированным извне. Так неравенство закреплялось уже не только институционально, но и морально: одним народам принадлежало право на государственное самосознание, другим — лишь обязанность быть благонадежными.

В австро-венгерской славянофобии потому и не было необходимости в постоянной открытой брани, что она глубоко укоренилась в самой структуре повседневного правления. Она проявлялась в кадровой политике, в административном языке, в школьных и культурных иерархиях, в реакции на национальные движения, в готовности видеть в славянском пробуждении не историческую закономерность, а проблему безопасности. Для когнитивной войны это особенно важно: наиболее прочные формы понижения действуют не только через памфлет или газетную истерику, но через привычную государственную интонацию. Когда целая группа десятилетиями воспринимается как «не вполне надёжная», это постепенно начинает казаться естественным положением вещей.

С антропософской точки зрения здесь мы имеем дело с серьёзным искажением воли к справедливому историческому созерцанию. Империя перестаёт видеть в славянских народах неповторимые народные индивидуальности, несущие собственные задачи в развитии Европы, и вместо этого воспринимает их через призму собственного страха. Душа ощущающая боится их пробуждения, душа рассудочная схематизирует их как проблему, а душа сознательная не достигает того свободного акта понимания, при котором другой народ переживается как равно законный участник общего исторического пути. На этом и строится скрытая жестокость имперского сознания: оно не обязательно истребляет, но систематически уменьшает духовный масштаб другого.

Итак, славянофобия в Австро-Венгрии была не простой ненавистью и не сплошной враждой ко всем славянам подряд. Её суть состояла в политике подозрения и внутренней иерархии, в представлении о славянах как о подданных с ограниченной степенью доверия, в страхе перед русофильством и панславизмом как каналами перераспределения лояльности и, наконец, в систематическом ограничении субъектности славянских народов. Именно поэтому австро-венгерский опыт так важен для истории когнитивных войн: он показывает, как империя может управлять не только телами и территориями, но и самой мерой допустимой исторической воли своих народов. Следующим логическим шагом из этого узла становится антисербская мобилизация 1914 года, где скрытая иерархия и политика подозрения переходят уже в гораздо более открытую и жёсткую форму демонизации.

11. Антисербский узел 1914 года и миф о «балканском варварстве»

Антисербский узел 1914 года занимает в истории когнитивной войны особое место, потому что здесь можно почти в лабораторной чистоте увидеть, как конкретный политический враг превращается в носителя более общего цивилизационного клейма. После сараевского убийства наследника престола антисербские демонстрации в Сараеве, по свидетельству энциклопедии *1914–1918 Online*, быстро переросли в беспорядки и погромы; они были подогреты атмосферой, в которой сербская сторона уже заранее мыслилась источником мятежа и подрыва имперского порядка. В более широком масштабе антисербские настроения помогли первоначальной мобилизации Австро-

Венгрии летом 1914 года, потому что значительная часть общества приняла как самоочевидное предположение, будто Белград стоит за сараевским покушением.

Здесь особенно важно, что антисербская реакция не ограничилась государственным ультиматумом и дипломатическим давлением. Она сразу обрела форму общественной эмоциональной мобилизации. В Сараеве и других местах монархии вспыхнули антисербские выступления, а в прессе появился язык крайнего ожесточения. В одном хорватском издании, которое цитирует *1914–1918 Online*, сербы назывались «ядовитыми змеями», от которых можно быть в безопасности лишь после того, как им «раздавят головы». Это уже не просто политическая враждебность. Это классическая формула дегуманизации, в которой противник изображается как опасное, почти биологически вредоносное существо.

Тем самым серб начинает выступать не просто как подданный враждебного государства и не просто как участник террористического заговора. Он превращается в образ врождённого мятежа. В глазах значительной части австро-венгерского общества Сербия и сербский элемент внутри империи начинают восприниматься как постоянный источник подрывной воли, нелояльности и склонности к насилию. Именно это и делает 1914 год поворотным: конкретное политическое событие переводится в язык сущности. Опасен уже не только тот, кто стрелял; опасным начинает казаться сам тип сербского исторического существования.

В когнитивном отношении это чрезвычайно важный переход. Пока речь идёт о расследовании покушения, сохраняется пространство для различия между виновными, сочувствующими, невиновными и просто политически неблагонадёжными. Но когда на первый план выходит образ «сербской природы» как природы мятежной, тогда конкретность исчезает. Виновность становится почти наследуемым качеством, а политическая борьба — морально очищенным актом самообороны. Именно так и работает когнитивная война: она снимает сложность и подменяет её эмоционально насыщенным типом врага.

При этом антисербская мобилизация 1914 года была важна не только для внутренней политики Австро-Венгрии, но и для более широкого европейского воображения. Она способствовала закреплению образа Балкан как пространства, где насилие якобы не является исключением, а вытекает из самой ткани общественной жизни. Уже сама логика июльского кризиса легко толкала к такому выводу: если из балканского узла выходит искра мировой войны, значит Балканы можно представить как территорию хронической взрывоопасности, первобытной политической страстности и разрушительной иррациональности. Позднейшая литература о «балканизме» как раз и показывает, что образ Балкан в европейском дискурсе нагружается не только географическим, но и отчётливо негативным политическим смыслом; сам термин «балканизация» к концу XIX — началу XX века становится всё более политически заряженным, а дискурс о Балканах строится вокруг иерархических противопоставлений вроде «цивилизация/варварство», «центр/периферия», «рациональное/иррациональное».

Именно здесь частный враг начинает перерастать в общий культурный тип. Серб в 1914 году — это ещё вполне конкретный политический противник Вены. Но очень быстро этот образ начинает расширяться и символически заражать всё балканское пространство. Если Сербия — это гнездо заговора, если серб — это фигура мятежа, если из Сараева выходит европейская катастрофа, то следующий шаг оказывается почти автоматическим: сами Балканы начинают мыслиться как регион врождённой нестабильности. Так рождается миф о «балканском варварстве» — не как описание реального многообразия балканских

обществ, а как удобная сверхсхема, сводящая регион к насилию, избытку страсти и хронической незрелости.

С антропософской точки зрения в этом переходе особенно заметно, как коллективное воображение теряет способность к внутренне свободному различению. Душа ощущающая захватывается шоком, страхом и жадой ответного удара; душа рассудочная спешит закрепить случившееся в формуле: «Балканы таковы»; а душа сознательная уже не доходит до понимания исторической конкретности, потому что единичный акт оказывается поглощён мифом о целом регионе. В этом и состоит скрытая жестокость подобных конструкций: они не просто обвиняют, а уменьшают духовную меру целых народов и пространств. История перестаёт быть множественной и становится карикатурой.

Надо, однако, удержать и важную оговорку. Было бы неверно утверждать, будто именно в 1914 году весь миф о «балканском варварстве» возник с нуля. Негативные представления о Балканах складывались и раньше. Но 1914 год стал той точкой, где они получили особенно мощное политическое и эмоциональное подтверждение. Антисербская мобилизация дала старым стереотипам новый центр тяжести: Балканы стали восприниматься не просто как отсталая периферия Европы, а как пространство, способное заразить катастрофой весь континент. Тем самым локальный конфликт был поднят до уровня цивилизационного диагноза.

Итак, антисербский узел 1914 года важен не только как эпизод начала мировой войны. Его подлинное историческое значение состоит в том, что он показывает механизм превращения политического противника в культурный архетип. Сначала возникает антисербская мобилизация как реакция на покушение; затем серб закрепляется как образ мятежа и насилия; после этого частный враг начинает расширяться до общего образа Балкан как территории хронической варварскости. Именно так когнитивная война перерастает из кампании против конкретного государства в долговечный миф о целом регионе.

12. Пять устойчивых антиславянских мифов

После рассмотрения британской, французской, германской и австро-венгерской линий становится возможным перейти от отдельных исторических сюжетов к более общему уровню анализа. За множеством текстов, кампаний, политических реакций и идеологических формул проступают несколько устойчивых мифов, которые из века в век воспроизводятся в разных вариантах и образуют скрытую структуру европейской иерархии. Эти мифы не всегда проговариваются прямо; нередко они действуют как подразумеваемые схемы восприятия, как духовно-психологические привычки, как не до конца осознанные рамки, в которых славянский мир рассматривается не как равноправная совокупность народных индивидуальностей, а как пространство пониженной исторической полноценности. Именно поэтому речь идёт не о случайных предрассудках, а о долговременных когнитивных механизмах.

Первый миф можно обозначить так: **славяне — орудие внешней силы**. В различных исторических контекстах эта формула принимала разные формы, но её внутренний смысл оставался сходным. В Австро-Венгрии и Германии славянские движения нередко рассматривались прежде всего сквозь призму страха перед Россией и панславизмом; в западноевропейском воображении славянские народы слишком часто представлялись не как самостоятельные исторические субъекты, а как материал для чужой геополитики, как носители «влияния извне», как потенциальные проводники не собственной воли, а воли

какого-то внешнего центра. Здесь особенно важно заметить скрытую несправедливость такого взгляда. Народу отказывается в праве на самостоятельное внутреннее движение: если он пробуждается — значит, его кто-то «ведёт»; если он сопротивляется — значит, он кем-то инспирирован; если он ищет культурной общности — значит, за этим стоит угроза. Тем самым славянская субъектность с самого начала ставится под подозрение и переживается как вторичная.

В антропософском смысле здесь мы имеем дело с типичным искажением души рассудочной. Вместо того чтобы увидеть в каждом народе его собственную духовную задачу и его неповторимый исторический ритм, внешний наблюдатель подменяет живую реальность простой схемой: славянин не действует сам, а служит продолжением иной силы. Такая схема удобна политически, но она внутренне ложна, потому что отказывает целому кругу народов в праве быть источником собственной воли. И именно это делает миф столь долговечным: он позволяет не понимать, а подозревать.

Второй миф — **славяне как «не вполне Европа»**. Это, вероятно, самый устойчивый и самый глубоко укоренённый из всех антиславянских мифов. Его сила заключается в промежуточности. Славянский мир не выталкивается полностью за пределы Европы, но и не признаётся в ней до конца своим. Он как будто находится внутри европейского пространства географически и исторически, но в духовно-культурном отношении всё время удерживается на пониженной ступени. Византийская и православная линия здесь накладывается на более поздние формы русофобии и славянофобии: Восток Европы оказывается пространством неполной зрелости, неполной рациональности, неполной политической культуры, неполной цивилизационной завершенности.

Этот миф особенно разрушителен потому, что действует не грубо, а тонко. Он не всегда говорит: «славяне чужие». Гораздо чаще он говорит: «славяне — почти свои, но не вполне». А именно такая формула наиболее опасна в когнитивной войне, поскольку она создаёт постоянное ощущение недоказанной полноценности. Славянский народ оказывается вынужден всё время оправдывать своё право быть признанным равным, всё время измеряться внешней мерой, всё время доказывать, что он не ниже, не грубее, не менее свободен, не менее культурен. В результате навязанная шкала начинает действовать уже внутри самого самосознания. Душа ощущающая переживает унижение, душа рассудочная — соблазн самооправдания или самоотрицания, а душа сознательная подвергается нажиму чужой нормы, выдающей себя за универсальную.

Третий миф — **балканские славяне как якобы природно склонные к насилию**. Этот образ особенно усилился в связи с антисербской мобилизацией 1914 года, но его значение выходит далеко за пределы одного исторического эпизода. Здесь перед нами типичный пример того, как частный политический конфликт перерастает в устойчивый цивилизационный штамп. Вместо различения между конкретными движениями, кризисами, войнами, социальными разломами и формами внешнего вмешательства возникает простая формула: Балканы — это пространство избытка страсти, мятежа, крови, неразумия и хронической взрывоопасности. А раз так, то и балканский славянин начинает восприниматься не как носитель сложной и трагической истории, а как почти естественный производитель насилия.

В действительности этот миф особенно показателен как пример духовной лени и восприятия. Он снимает обязанность понимать. Вместо того чтобы видеть в балканской истории сплетение имперского давления, религиозных разломов, национального самоутверждения, внешних вмешательств и исторических катастроф, западное воображение нередко сводит всё к якобы «характеру региона». Тем самым историческая

конкретность превращается в клеймо природы. И если в отношении России особенно силен миф деспотии, то в отношении Балкан чрезвычайно устойчив миф врождённой хаотичности и насильственности. Это не просто ошибка описания; это способ понизить духовную меру целого пространства и сделать его допустимым объектом внешнего покровительства, педагогики или презрения.

Четвёртый миф — **славяне как объект управления, а не полной субъектности**. Он тесно связан со всеми предыдущими, но имеет собственную политическую функцию. Здесь уже недостаточно просто подозревать славян в зависимости от внешней силы или считать их неполной Европой; здесь утверждается более практический вывод: славянскими народами надо управлять, их надо дисциплинировать, балансировать, ограничивать, корректировать, вводить в историю извне. Именно эта логика особенно ясно видна в австро-венгерской практике, но в более мягкой форме она встречается гораздо шире. Немецкий, венгерский, британский, французский и более общий западноевропейский взгляд нередко исходил из того, что славянские народы ещё не вполне способны быть хозяевами собственной судьбы без внешнего надзора, внешней формы, внешнего учителя или внешнего арбитра.

Это один из самых глубоких мифов, потому что он не всегда выглядит враждебным. Напротив, он может прикрываться риторикой порядка, цивилизации, модернизации, рационального устройства, европейского воспитания. Но по существу он означает одно: славянскому миру отказывается в полном доверии к его собственной исторической воле. В антропософском освещении это означает отказ признать в другом народе его собственную духовную задачу. Такой отказ внешне может выглядеть как помощь или руководство, но внутренне он всегда связан с понижением. Другой народ мыслится не как равноценный носитель исторического Я, а как не вполне зрелая душевная общность, которой нужен надсмотрщик. Именно поэтому этот миф столь опасен: он может действовать даже под маской доброжелательности.

Пятый миф — **антиславянская дискриминация как «невидимый» расизм**. Этот пункт особенно важен, потому что он касается не только прошлого, но и самой структуры современного европейского самосознания. В отличие от антисемитизма, колониального расизма или, скажем, откровенно биологического нацистского языка, антиславянское понижение слишком часто не распознаётся как полноценная форма расизма. Его склонны описывать как культурный стереотип, как историческую неприязнь, как политическое недоверие, как цивилизационную иерархию — но не как расистически значимое понижение другого. Именно поэтому оно так живуче. То, что не названо, легче сохраняется; то, что не признано нравственной проблемой, легче воспроизводится в шутке, в медийной интонации, в административной практике, в повседневной иерархии уважения.

Здесь особенно ясно видно, как когнитивная война может жить после исчезновения грубых идеологий. Открытый язык «низших рас» дискредитирован, но скрытая шкала ценности народов может продолжать существовать в форме культурных и политических допущений. Славян можно изображать грубее, менее рациональными, менее политически зрелыми, более терпимыми к насилию, менее чувствительными к свободе — и всё это нередко не будет воспринято как расизм в строгом смысле. Тем самым антиславянская дискриминация оказывается почти прозрачной для самой себя: она действует, но остаётся полуназванной. А это и есть одно из условий её долговечности.

Если теперь собрать все пять мифов вместе, то станет видно, что перед нами не хаотический набор штампов, а достаточно цельная структура. Славяне изображаются как

зависимые от внешней силы; как не до конца принадлежащие Европе; как особенно склонные к насилию в балканском варианте; как народы, требующие внешнего управления; и, наконец, как объекты такого понижения, которое даже не всегда осознаётся как расизм. Все эти мифы работают в одном направлении: они уменьшают духовно-историческую меру славянского мира. Они делают его менее самодостаточным, менее законным, менее равным в символическом пространстве Европы.

Именно в этом состоит их подлинная когнитивная функция. Они не только искажают взгляд на славян, но и производят такую европейскую норму, по отношению к которой славянский Восток оказывается вечно недотянутым, условно признанным, полуподозрительным и не вполне самозаконным. Следовательно, борьба с этими мифами требует не только политической полемики, но и более глубокой духовной работы — восстановления способности видеть в славянских народах не периферию чужой нормы, а носителей собственной исторической, культурной и духовной правды. Именно поэтому следующим шагом необходимо показать не только сами мифы, но и их движение во времени — то, как они переходили из эпохи в эпоху, меняя слова, но сохраняя свою понижающую функцию.

13. Историческая линия мифов по векам

Чтобы увидеть подлинную устойчивость антиславянских мифов, недостаточно перечислить их как отвлечённые схемы. Необходимо проследить их движение во времени, показать, в какие моменты истории они особенно сгущались, какие из них выходили на первый план и как менялся их язык. Тогда становится видно, что перед нами не набор случайных предрассудков, а повторяющаяся линия духовно-политического понижения, в которой славянский Восток снова и снова оказывался объектом недоверия, символического уменьшения и ограничения субъектности. Именно поэтому полезно рассмотреть эту историю по ключевым векам.

1848 год стал одним из первых больших европейских моментов, когда славянский вопрос начал восприниматься не как этнографическая особенность, а как политическая проблема континентального масштаба. Революции, национальные движения, страх распада старых имперских форм и одновременно рост ожиданий среди разных народов сделали славян заметными как коллективный исторический фактор. Но именно в этот момент в немецком и австрийском сознании особенно усиливается миф о славянах как орудии внешней силы и как о массе, потенциально опасной для европейского порядка. Славянское пробуждение слишком легко толкуется не как самостоятельное движение народов, а как угроза, как давление Востока, как прелюдия к расширению русского влияния. Иначе говоря, уже здесь право славян на собственную историческую инициативу оказывается ограниченным подозрением.

1867 год, год австро-венгерского компромисса, закрепляет следующую форму мифа — представление о славянах как о народах, допустимых внутри государства, но не вполне признанных как носители равного права на политическую полноту. Дуалистическая конструкция империи юридически и фактически подчёркивала центральность немецко-австрийского и венгерского элементов, тогда как славянские народы, несмотря на свою численность и культурную значимость, оставались в положении ограниченной субъектности. В этот момент особенно усиливается миф о славянах как о материале управления. Им можно позволить существовать, их можно использовать в административной, хозяйственной и военной жизни, но им не следует доверять полноту исторической воли. Здесь антиславянская схема приобретает уже не только публицистическую, но и государственно-институциональную форму.

1914 год становится переломом иной природы. Если прежде славянин часто представлялся политически сомнительным или культурно неполным, то с началом мировой войны, и особенно в связи с антисербской мобилизацией, он всё чаще выступает как носитель мятежа, насилия и разрушения. Сербский вопрос, сараевское убийство, мобилизационная пропаганда, страх перед панславизмом и русским вмешательством создают особую атмосферу, в которой конкретный политический конфликт перерастает в миф о целой зоне Европы. Именно здесь особенно быстро работает схема: частный враг превращается в общий тип. Серб оказывается не просто политическим противником, а фигурой врождённого заговора; Балканы — не просто сложным историческим регионом, а пространством якобы природного варварства. В этом узле особенно ясно видно, как когнитивная война снимает историческую конкретность и заменяет её морально насыщенным архетипом.

Межвоенный период закрепляет и расширяет эти представления. После катастрофы мировой войны Балканы и славянский Восток всё чаще изображаются как пространство нестабильности, раздробленности, избытка страстей и неспособности к устойчивому политическому порядку. Одновременно в германском пространстве продолжают зреть те представления о славянской неполноценности, которые позднее, в эпоху национал-социализма, будут переведены уже в открыто расовый язык. Межвоенная эпоха особенно важна тем, что в ней старые мифы начинают существовать сразу в нескольких режимах: как публицистический штамп, как геополитическая схема, как культурное презрение и как подготовительный материал для более жёстких идеологий. Здесь славянин всё чаще оказывается не только объектом подозрения, но и объектом теоретического понижения.

1990-е годы оживляют многие старые конструкции в новом контексте. Распад социалистического блока, войны на территории бывшей Югославии, кризисные процессы на постсоветском пространстве и общее ощущение восточноевропейской нестабильности вновь делают славянский мир удобным объектом упрощающих интерпретаций. Именно в это время миф о «балканском варварстве» получает новое дыхание: сложные войны, этнические конфликты, вмешательства внешних сил и распад прежних политических рамок слишком часто подаются как подтверждение якобы врождённой склонности региона к насилию. Одновременно постсоветское пространство нередко воспринимается как зона незавершённости, политической незрелости, коррупционной тяжести и исторической неопределённости. Тем самым старейший миф о «не вполне Европе» возвращается уже в языке перехода, модернизации и несостоявшегося вхождения в норму.

Расширение Европейского союза создаёт внешне противоположную, но внутренне сходную ситуацию. Формально восточноевропейские страны включаются в общеевропейские структуры, получают признание, институциональную близость и политико-правовую рамку принадлежности к общему пространству. Но вместе с этим сохраняется иерархия символического признания. Восток Европы включается, но не всегда переживается как полностью равный Западу; допускается, но нередко остаётся объектом педагогического взгляда, проверки на зрелость, сомнения в устойчивости его институтов и в глубине его европейскости. Здесь миф о «неполной Европе» не исчезает, а становится мягче и административнее. Он действует уже не через грубую брань, а через интонацию условного признания: вы европейцы, но вам ещё надо доказать полноту этой принадлежности.

Наконец, **современное медиапространство** даёт этим мифам новую техническую среду и новую скорость обращения. Здесь старые схемы уже редко формулируются в прямом виде, но продолжают жить как эмоциональные шаблоны, как быстро считываемые образы, как меметические конструкции, как фоновые презумпции. Славянский Восток

может и сегодня появляться в образе пространства большей грубости, меньшей политической зрелости, повышенной склонности к авторитаризму, насилию, хаосу или внешней управляемости. Россия, Балканы, постсоветское пространство и вообще восточная часть Европы снова и снова становятся экранами, на которые проецируются старые западные страхи. При этом современная медийная среда усиливает не столько глубину понимания, сколько скорость закрепления образа. Душа ощущающая захватывается мгновенной реакцией, душа рассудочная получает готовую схему, а душа сознательная всё реже находит время и внутреннюю тишину для подлинного различения.

Если собрать все эти вехи вместе, становится видно, что мифы меняют форму, но не исчезают. В 1848 году славяне подозреваются как пробуждающаяся масса, связанная с внешней угрозой; в 1867 году они удерживаются как народы ограниченной субъектности; в 1914 году становятся носителями мятежа и насилия; в межвоенный период — объектом теоретического понижения; в 1990-е — символом нестабильности и распада; при расширении Европейского союза — условно признанной периферией; в современном медиапространстве — фоном для новых версий старых подозрений. Именно в этом и состоит долговечность антиславянской схемы: она умеет менять исторический словарь, не отказываясь от своей главной функции — уменьшать духовно-историческую меру славянского мира и удерживать его на пониженной ступени символического признания.

14. Современная когнитивная война против России: украинский узел

В современном украинском узле когнитивная война выступает уже не как вспомогательное приложение к боевым действиям, а как почти самостоятельный фронт. Это видно по самому сочетанию инструментов: одновременно действуют санкции против конкретных лиц и структур, ограничения на медийное присутствие, специальные проекты психологического воздействия на российских военнослужащих, борьба за русскоязычную аудиторию и международно-правовое клеймение России через резолюции и судебные механизмы. Если смотреть на это не по отдельности, а как на целое, становится ясно, что речь идёт не только о войне вооружений и территорий, но и о борьбе за восприятие, волю, доверие и моральную рамку происходящего. Это уже не просто сопровождение конфликта, а его особое измерение.

Прежде всего современная когнитивная война направлена на российскую элиту. Здесь действует не одна, а сразу несколько сцепленных линий давления: санкционные списки, замораживание активов, запрет на предоставление средств и экономических ресурсов, ограничения на въезд и транзит, а в британском случае — также финансовые, торговые, транспортные и иммиграционные меры в рамках российского санкционного режима. Смысл этого воздействия выходит за пределы чисто экономического ущерба. Его когнитивная функция состоит в том, чтобы перевести государственный конфликт на уровень личной уязвимости, сделать стратегический выбор источником частного риска и тем самым расщепить целостность элитного самоощущения. В таком режиме внешнее давление должно работать не только как наказание, но и как производство неуверенности, токсичности и внутреннего расчёта на индивидуальное спасение.

Эта линия особенно показательна тем, что она сочетает правовой язык с моральной маркировкой. Санкция здесь действует не просто как инструмент внешней политики, а как знак публичного вынесения из круга нормальной международной респектабельности. Когда фигуры элиты связываются с режимом ограничений, арестов активов и запретов на доступ к западным юрисдикциям, удар наносится не только по ресурсам, но и по символическому статусу. Для когнитивной войны это чрезвычайно важно: элита должна почувствовать не просто дискомфорт, а сомнение в устойчивости собственного

положения и в цене своей политической принадлежности. Иначе говоря, против неё работает не только экономика, но и психология признания.

Вторая линия направлена против российской армии. Здесь особенно нагляден украинский официальный проект **I Want to Live**, прямо предлагающий российским военнослужащим добровольно сдаться и обещающий помочь «вернуться домой живыми». Уже сама формула проекта показывает его когнитивную природу: война переводится на уровень отдельного солдата, которому предлагается не коллективная воинская рамка, а индивидуальное решение о личном спасении. Дополнительный слой создаёт связанный с этим проект поиска пленных и погибших, который обращается уже не только к самим военным, но и к их семьям. Таким образом, давление идёт не просто по линии страха, а по линии индивидуализации судьбы: солдат должен начать мыслить не как часть общего строя, а как отдельный человек, которому предлагается выход из общего дела.

Именно в этом состоит особая новизна нынешнего этапа. Классическая психологическая война всегда стремилась деморализовать армию, но современный цифровой контур позволяет работать с бойцом гораздо адреснее. Здесь создаётся не абстрактная пропаганда, а почти персональный сценарий поведения: тебе предлагают считать главным не приказ, не общую цель и не воинскую солидарность, а собственную биографическую линию выживания. Для когнитивной войны это означает перенос конфликта в самую глубину волевого акта. Подрывается уже не только настроение части, а внутренняя логика решения: оставаться или выходить, терпеть или спасаться, быть звеном целого или отдельным телом, которое должно сохранить себя любой ценой.

Третья линия — воздействие на российское общество. Здесь борьба идёт прежде всего за русскоязычное пространство и за сам режим доступа к интерпретации событий. С одной стороны, Европейский союз в марте 2022 года срочно приостановил вещание RT и Sputnik на территории Союза, мотивируя это необходимостью ответа на действия, которые он определил как пропаганду и дезинформацию. С другой стороны, русскоязычные медийные проекты, позиционирующие себя как альтернативу государственно контролируемым российским СМИ, активно работают на российскую и внешнюю русскоязычную аудиторию. Так, Current Time прямо называет себя русскоязычной сетью, предоставляющей альтернативу «Kremlin-controlled news and information», а Радио Свобода описывает себя как альтернативу государственно контролируемым медиа для аудитории в России и за её пределами; оба ресурса публикуют значительные показатели аудиторного охвата за 2025 год.

С аналитической точки зрения это означает, что современная когнитивная война против России работает не по схеме простого внушения одной версии событий. Напротив, она действует через конкуренцию рамок и через борьбу за доверие к самим источникам. Российскому обществу предлагаются альтернативные версии происходящего извне, в то время как российские государственные каналы во многих западных юрисдикциях вытесняются из легитимного пространства. В результате возникает не только конфликт тезисов, но и более глубокий кризис ориентировки: кому верить, что считать реальностью, где проходит граница между информацией, агитацией и намеренным эмоциональным монтажом. Для когнитивной войны это чрезвычайно выгодная среда, потому что усталость, цинизм и распад единой картины мира нередко оказываются более разрушительными, чем прямое переубеждение.

Четвёртая линия направлена на внешний мир. Здесь целью становится уже не изменение мнения внутри России, а закрепление международного образа России как не просто спорной державы, а государства, помещённого в особую морально-правовую категорию.

На уровне ООН Генеральная Ассамблея в 2022 году приняла резолюцию «Aggression against Ukraine», в 2023 году вновь потребовала вывода российских войск, а в феврале 2025 года, по сообщению ООН, снова подтвердила территориальную целостность Украины, приняв два текста к трёхлетней дате вторжения. На уровне Международного уголовного суда в марте 2023 года были выданы ордера на арест Владимира Путина и Марии Львович-Беловой, а позднее Суд продолжил настаивать на сотрудничестве государств по исполнению этого ордера. Всё это вместе образует не просто дипломатическое давление, а систему международного морального и юридического именованья.

Для когнитивной войны международная линия особенно важна, потому что она создаёт такую рамку, в которой меры против России начинают восприниматься не как предмет политического спора, а как почти самоочевидный долг. Когда конфликт закрепляется в языке агрессии, нарушений международного права, ордеров на арест и последовательных голосований Генеральной Ассамблеи, пространство для сложной политической интерпретации резко сужается. Россия выводится из зоны «обычной» геополитической конкуренции и помещается в более жёсткую символическую категорию. Именно это и позволяет легче легитимировать дальнейшие санкции, дипломатическую изоляцию, военную помощь Украине и ограничения в информационном поле.

Если теперь собрать все уровни вместе, то украинский узел предстаёт как предельно концентрированная модель современной когнитивной войны против России. Элите навязывается режим персонального риска и символической токсичности. Армии — логика индивидуального выхода вместо коллективной воли. Обществу — конкуренция интерпретаций, разрушение цельного режима доверия и борьба за русскоязычную аудиторию. Внешнему миру — морально-правовая рамка, в которой Россия закрепляется как исключительный нарушитель нормы. В совокупности это означает, что современный конфликт развивается одновременно в материальном и в когнитивном измерении, где задача состоит не только в ослаблении противника, но и в перенастройке того, как он видит самого себя и как его видит мир.

Именно поэтому украинская фаза так важна для всей статьи. Здесь особенно ясно видно, что когнитивная война в XXI веке действует не только через лозунг или ложь, но через сложную инфраструктуру давления: санкционную, медийную, психологическую, правовую и платформенную. И если в ранних эпохах главными носителями такой войны были памфлет, фальшивка, церковная полемика или национальный миф, то теперь к ним прибавились цифровые сети, транснациональные медиапроекты, санкционные реестры и международные судебные механизмы. Но глубинная функция остаётся той же: лишить противника полноты легитимности, ослабить его внутреннюю волю и закрепить в сознании масс образ его исторической неправоты.

15. Мемы, провокации и эмоциональные сюжеты как инструменты воздействия

В современной когнитивной войне особую роль играют не только официальные заявления, аналитические доклады и прямые пропагандистские формулы, но и гораздо более подвижные, на первый взгляд второстепенные формы воздействия: мемы, провокационные сюжеты, эмоционально перегретые истории, символические эпизоды, легко воспроизводимые в медиа и социальных сетях. Именно они зачастую оказываются наиболее действенными в повседневной борьбе за восприятие, потому что воздействуют не через длительное доказательство, а через мгновенное схватывание образа. Там, где рассудочное сообщение ещё требует проверки и сопоставления, символическая история уже вызывает смех, ужас, отвращение, презрение или желание немедленного

нравственного приговора. Поэтому в структуре современной когнитивной войны такие сюжеты выполняют функцию ускорителей: они быстро переводят сложную реальность в эмоционально готовую форму.

Прежде всего следует различать **роль символических историй**. Символическая история не обязательно важна своим фактическим масштабом. Её сила в ином: она превращается в знак целого. Единичный эпизод, сомнительное свидетельство, частный случай, бытовая деталь или визуально яркий фрагмент начинают восприниматься как почти исчерпывающее доказательство сущности противника. Так работает символическая концентрация. Реальная многослойность конфликта сжимается в короткую и легко передаваемую формулу: «вот каковы они». Для когнитивной войны это чрезвычайно удобно, потому что символическая история снимает необходимость в сложном анализе. Она не требует понимания целого; напротив, она подменяет целое эмоционально насыщенным знаком.

С антропософской точки зрения здесь особенно интенсивно поражается душа ощущающая. Ей не предлагают путь к внутренне свободному суждению; её захватывают образом, который действует почти мгновенно. Душа ощущающая реагирует прежде, чем душа рассудочная успевает выстроить различия, а душа сознательная — осуществить свободный акт проверки. Именно поэтому символическая история столь эффективна: она поселяется в человеке раньше, чем он успевает отнестись к ней как к вопросу. После этого рассудок уже нередко работает не для выяснения истины, а для оправдания первоначального эмоционального впечатления.

Особое место в этой системе занимают **унизительные и шоковые сюжеты**. Их назначение двоякое. С одной стороны, они понижают образ противника, лишают его достоинства, превращают его в объект насмешки, морального отвращения или культурного презрения. С другой стороны, они облегчают последующее принятие более жёстких мер против него, потому что тот, кто уже унижен в символическом порядке, легче становится допустимым объектом изоляции, наказания и общего осуждения. Унизительный сюжет работает через смех и брезгливость; шоковый — через ужас и нравственный паралич. Но в обоих случаях результат сходен: противник выводится из пространства сложного человеческого восприятия и начинает восприниматься как носитель почти готового приговора.

Здесь особенно важно понять, что такие сюжеты не всегда стремятся что-либо доказать в юридическом смысле. Их задача чаще иная: не установить истину, а создать такую эмоциональную атмосферу, в которой дальнейшее обсуждение уже будет подчинено заранее сложившемуся нравственному впечатлению. В этом смысле мем и шоковый сюжет могут быть даже сильнее большого аналитического текста. Аналитика требует времени, внимания, сравнения, внутренней дисциплины. Мем требует одного мгновения. Но именно это мгновение и может направить всю дальнейшую душевную работу адресата. Так кратчайшая форма становится одним из самых действенных инструментов долгого воздействия.

Отсюда вытекает и следующая функция: **ускорение моральной делегитимации противника**. Современная война всё чаще ведётся не только за территорию, ресурсы или переговорные позиции, но и за право определить, кто вообще заслуживает признания как нормальный участник исторического процесса. В этом смысле мемы, провокации и эмоциональные истории действуют как механизмы ускоренного нравственного кодирования. Они переводят конфликт из пространства интересов в пространство почти абсолютного различия между допустимым и недопустимым, человеческим и

бесчеловечным, цивилизованным и варварским. Как только этот перевод произошёл, компромисс начинает восприниматься не как сложное политическое решение, а как нравственная уступка злу.

Именно здесь особенно заметна разница между старой и новой формой пропаганды. Ранее демонизация противника часто строилась через длинный идеологический рассказ. Сегодня она всё чаще строится через серию коротких эмоциональных узлов. Один сюжет производит шок, другой — смех, третий — моральное отвращение, четвёртый — символическую ясность. И из этих отдельных узлов постепенно складывается устойчивый образ, который уже не нуждается в постоянном доказательстве. Душа рассудочная получает готовую схему, а душа сознательная оказывается окружена плотной средой предварительных эмоциональных внушений. Так создаётся не просто информационное давление, а почти новая атмосфера восприятия.

Особенно опасным является **смешение доказанного, сомнительного и эмоционально преувеличенного**. Это, пожалуй, один из самых характерных механизмов современной когнитивной войны. Здесь не обязательно строится полностью ложная картина. Напротив, куда эффективнее оказывается сплетение разных уровней достоверности: реальный факт, не до конца проверенное сообщение, эмоционально раздутая цифра, яркая деталь, спорная интерпретация, шоковый заголовок, визуально сильный фрагмент. Всё это соединяется в единую воспринимаемую массу. В результате адресат уже не различает, что было строго установлено, что остаётся вероятным, а что представляет собой лишь эмоциональную надстройку. Но именно это неразличение и делает воздействие сильным.

В антропософском языке можно сказать, что здесь затемняется деятельность души сознательной, потому что она питается различением, мерой и ответственностью суждения. Когда же доказанное и предположительное сливаются в одно морально нагретое поле, человек теряет способность удерживать внутреннюю дистанцию. Он начинает жить не в пространстве истины, а в пространстве интенсивности впечатления. Для когнитивной войны это чрезвычайно выгодно, поскольку интенсивность впечатления почти всегда опережает работу свободного суждения.

Надо, однако, подчеркнуть и ещё один момент: подобное смешение опасно не только для той стороны, против которой оно направлено, но и для самой обвиняющей стороны. Когда эмоциональное преувеличение слишком заметно, когда сомнительное подаётся как бесспорное, когда символическая история слишком явно претендует на роль исчерпывающего доказательства, возникает обратный эффект. Противник получает возможность указать на небрежность, натяжку или манипуляцию и тем самым подорвать доверие уже ко всему массиву сообщений, включая и те, которые были основаны на реальных фактах. Следовательно, современная когнитивная война постоянно колеблется между эффективностью эмоционального удара и риском самоподрыва через чрезмерную символическую эксплуатацию.

Итак, мемы, провокации и эмоциональные сюжеты являются в современной войне не побочным шумом, а важным орудием воздействия. Их сила состоит в способности превращать сложный конфликт в легко усваиваемые образы, понижать достоинство противника, ускорять его моральную делегитимацию и стирать границы между доказанным, сомнительным и эмоционально преувеличенным. Именно поэтому они так действенны в эпоху сетевой циркуляции образов: они поражают прежде всего не рассудок как таковой, а душевную ткань восприятия. А там, где эта ткань уже захвачена, дальнейшая борьба за истину становится значительно труднее. В этом и состоит одна из важнейших особенностей современного этапа когнитивной войны: победа всё чаще

достигается не только через навязывание тезиса, но через захват той внутренней сцены, на которой человек вообще способен различать правду, ложь и меру человеческого суда.

16. Целевые аудитории когнитивной войны

Современная когнитивная война отличается от более ранних форм не только скоростью распространения сообщений и технической плотностью медийной среды, но и гораздо большей точностью адресации. Если прежде пропагандистское воздействие часто строилось как относительно единый поток, направленный на широкую массу, то сегодня оно всё чаще расчленяется по аудиториям. Это значит, что против разных слоёв политического и общественного организма применяются разные инструменты, вызываются разные душевные реакции и достигаются разные политические результаты. В этом смысле когнитивная война действует подобно сложной системе прицельного давления: она не просто создаёт общий фон враждебности, а работает отдельно с элитой, отдельно с армией, отдельно с обществом и отдельно с внешним миром. Именно поэтому анализ целевых аудиторий необходим для понимания её реальной структуры.

Первая целевая аудитория — **элита**. Воздействие на неё строится прежде всего через персонализацию ответственности, санкционное давление, репутационное клеймение, угрозу утраты активов, международной мобильности, правового статуса и символического положения. Здесь инструментами служат не только формальные ограничения, но и постоянное внушение мысли, что принадлежность к государственному курсу делает человека токсичным, изолированным и исторически обречённым. Для элиты особенно важно признание, возможность влиять, чувство устойчивости собственной позиции и перспективы будущего. Поэтому когнитивная война стремится ударить именно по этим точкам: вызвать сомнение в прочности порядка, подорвать доверие к перспективе, отделить личный интерес от государственного, заменить стратегическое мышление логикой индивидуального спасения. Ожидаемый эффект здесь — раскол, внутренняя неуверенность, рост частного расчёта и снижение воли к долгой исторической линии. Политический результат такого воздействия состоит в ослаблении целостности правящего слоя и в попытке превратить его из носителя государственной воли в совокупность нервных, самооборонительных и внутренне дезориентированных фигур.

Вторая аудитория — **армия**. Здесь инструменты иные, потому что иная сама внутренняя организация адресата. На солдата и офицера нельзя воздействовать так же, как на владельца капитала или государственного управленца. Поэтому в отношении армии когнитивная война действует через деморализацию, акцентирование потерь, подрыв доверия к командованию, постоянное внушение бессмысленности жертвы, а также через предложение индивидуального выхода из общей воинской рамки. Здесь особенно важен перенос сознания с общего долга на частное выживание. Если элите внушают логику личного расчёта, то армии — логику личного самосохранения. В результате душа ощущающая захватывается страхом, усталостью, тоской по дому, чувством оставленности; душа рассудочная получает схему: «моя жертва ничего не меняет»; а душа сознательная ослабляется в самом корне волевого решения. Ожидаемый эффект — снижение моральной устойчивости, рост недоверия, ослабление дисциплины внутреннего смысла, даже если внешняя дисциплина ещё сохраняется. Политический результат — уменьшение боеспособности не только в материальном, но и в духовно-волевом отношении. Армия может ещё существовать как структура, но её внутренняя энергия сопротивления при этом постепенно истончается.

Третья аудитория — **общество**. Это наиболее сложный и многослойный объект когнитивной войны, потому что общество включает разные поколения, социальные слои,

образовательные уровни, культурные привычки и режимы потребления информации. Здесь невозможно ограничиться одним инструментом, поэтому используется целый комплекс средств: конкурирующие медийные версии, эмоциональные истории, мемы, шоковые сюжеты, подрыв доверия ко всем источникам сразу, постоянное чередование правды, полуправды и сомнительных сообщений, а также борьба за язык, в котором общество описывает происходящее. По существу, общество становится полем для разрушения общей картины мира. Если элиту стремятся расколоть, а армию деморализовать, то общество стремятся утомить, раздробить и лишить цельного режима доверия. Ожидаемый эффект — цинизм, апатия, внутреннее раздвоение, утрата ясной границы между достоверным и сомнительным, ослабление связи между личным переживанием и общим историческим смыслом. Политический результат такого воздействия особенно серьёзен: общество может формально сохранять устойчивость, но внутри него начинает распадаться единое символическое пространство. А народ, утративший общий язык самоописания, становится гораздо более уязвимым для дальнейшего давления.

Четвёртая аудитория — **внешний мир**. Здесь когнитивная война действует уже не для того, чтобы сломить противника изнутри, а для того, чтобы сформировать вокруг него такую международную моральную и политическую среду, в которой давление на него будет восприниматься как естественное, оправданное и почти обязательное.

Инструментами здесь становятся международные медиа, дипломатическая риторика, экспертные доклады, правовые квалификации, резолюции, санкционные режимы, гуманитарный язык, визуальные символы, повторяющиеся формулы о нарушении норм, агрессии, вмешательстве, угрозе международному порядку. Внешнему миру предлагается не просто информация о конфликте, а целая готовая рамка его нравственного понимания. Ожидаемый эффект — закрепление противника в положении особого нарушителя, моральная консолидация союзников, снижение готовности к нейтральному взгляду, облегчение для любых мер изоляции и сдерживания. Политический результат здесь состоит в том, что давление на государство перестаёт выглядеть как частный интерес одних стран против других и начинает подаваться как служение всеобщей норме.

Если теперь собрать всю картину целиком, то станет видно, что когнитивная война строится как многоуровневая система прицельного воздействия. На **эли**ту она действует через изоляцию, персональный риск и подрыв стратегической уверенности. На **армию** — через деморализацию, индивидуализацию страха и разрушение волевого смысла жертвы. На **общество** — через усталость, недоверие, эмоциональную перегрузку и распад общего смыслового поля. На **внешний мир** — через моральное клеймение, правовую рамку и международную делегитимацию. При этом для каждой аудитории используются свои инструменты, но итоговая цель остаётся единой: ослабить целостность исторического субъекта, лишить его внутренней уверенности и представить его противником не только политически спорным, но и морально пониженным.

С антропософской точки зрения здесь особенно важно понять, что когнитивная война поражает не один лишь рассудок. Она работает с душой ощущающей через страх, унижение, усталость и отвращение; с душой рассудочной — через схемы объяснения, подозрения и готовые интерпретации; а с душой сознательной — через затемнение способности к внутренне свободному, ответственному и не навязанному извне суждению. Поэтому борьба с такой войной требует не только контрпропаганды, но и восстановления внутренней духовной собранности. Там, где народ, армия, элита и культурное окружение сохраняют способность к различению, к памяти, к доверию и к внутреннему стоянию в истине, когнитивная война утрачивает часть своей силы. Но там, где эти связи разрушены, она начинает побеждать ещё до того, как решён вопрос о внешнем исходе конфликта.

17. Инфраструктура внешнего влияния: фонды, грантовые сети, неправительственный сектор

Современная когнитивная война ведётся не только через разовые медийные кампании, громкие политические заявления или краткосрочные психологические операции. Её более глубокий слой связан с долговременной инфраструктурой влияния: с фондами, грантовыми программами, сетью неправительственных организаций, внешне финансируемыми медиа, образовательными инициативами, исследовательскими центрами и экспертными площадками. В постсоветском пространстве такая инфраструктура формировалась десятилетиями. Академическая литература прямо отмечает, что уже в первые годы после распада коммунистического блока USAID был одним из наиболее влиятельных внешних доноров в Восточной Европе и Евразии, а поддержка гражданского общества и неправительственного сектора рассматривалась как важнейшая часть демократизационного проекта. Открыто об этом говорят и сами институции: Open Society Foundations пишут, что после падения Советского Союза расширили усилия по поддержке демократического развития и гражданского общества в регионе, а NED указывает, что в Евразии поддерживает медиа, гражданское общество, профсоюзы и политические партии.

Если рассматривать эту среду по секторам, становится видно, что речь идёт не о чём-то одном. В сфере медиа официальные американские и частные структуры прямо заявляют о поддержке «независимой журналистики», «свободного потока информации» и противодействии дезинформации. Open Society Foundations пишут, что в Европе и Центральной Азии поддерживают независимую журналистику и медиа, особенно там, где информационное поле в значительной степени контролируется государственными интересами. В украинском направлении совместный надзорный план по американской помощи прямо относит к задачам поддержку независимых медиа и гражданского общества при одновременном противодействии дезинформации. Параллельно существует и государственно финансируемая медийная инфраструктура: RFE/RL официально финансируется Конгрессом США через USAGM и определяет свою миссию как продвижение демократических ценностей через «точные, нецензурируемые новости» и «открытую дискуссию» там, где свободная пресса находится под угрозой.

Но воздействие не ограничивается медиа. Внешнее финансирование охватывает также образование, подготовку кадров и долгую работу с ценностной средой. Показателен пример программы Step by Step, запущенной Open Society Foundations в 1994 году в 15 странах Центральной Европы и Евразии: сам фонд пишет, что Джордж Сорос вложил в раннее детское образование в регионе более 100 миллионов долларов, а программа затем расширилась до десятков стран и была связана с продвижением инклюзивных и демократических ценностей в образовательной среде. Это важно не потому, что любое образовательное финансирование само по себе является враждебным, а потому, что через подобные инициативы формируются не только навыки, но и нормы — язык гражданственности, представления о правильном государстве, о роли общества, о допустимых формах политического участия и о желательных моделях исторического развития.

Особое значение имеет то, что подобные сети не просто поддерживают существующие организации, а помогают выстраивать целые поля описания реальности. Это хорошо видно по официальному языку самих доноров. NED на своей странице по Евразии пишет, что в регионе всё больше гражданского общества исходит из предпосылки: только демократические ценности могут защитить государственный суверенитет от «империалистического вторжения». Там же говорится о необходимости противостоять «авторитарному влиянию России», расширять медиа на местных языках и уменьшать

доминирование государственно контролируемых русскоязычных источников. USAID в собственном отчёте инспектора указывает, что медийная программа в Украине должна расширять доступ к качественной информации и медиаграмотности, чтобы противодействовать «вредоносному влиянию», поддерживать европейскую интеграцию и усиливать роль медиа в демократических процессах. Иначе говоря, здесь формируется не нейтральный, а вполне определённый лексикон: «демократические ценности», «европейская интеграция», «авторитарное влияние России», «империалистическое вторжение», «государственно контролируемые русскоязычные медиа». Именно через такой словарь постепенно задаётся рамка, в которой Россия на постсоветском пространстве начинает описываться прежде всего как источник давления, регресса и внешней угрозы.

В этом и состоит когнитивная функция долгосрочной инфраструктуры влияния. Она действует медленнее, чем пропагандистский удар, но часто глубже. Разовый сюжет может вызвать эмоцию на день или неделю; грантовая сеть, учебная программа, медийная экосистема и экспертное сообщество способны годами воспроизводить один и тот же способ говорить о политике, истории и будущем региона. Исследование о связях внешних акторов и гражданского общества в Украине и Беларуси прямо указывает, что связи организаций с внешними центрами могут влиять на внутренний социально-политический порядок, а плотность и характер таких связей определяют степень внешнего рычага и уязвимости государства к внешнему давлению. То есть речь идёт не только о поддержке отдельных проектов, но и о долгой перенастройке организационного и смыслового ландшафта.

С антропософской точки зрения эта форма воздействия особенно значима потому, что она работает не только с поверхностью мнения, но и с душевными предпосылками будущих суждений. Душа ощущающая постепенно привыкает к определённому эмоциональному распределению симпатий и антипатий: «Европа» связывается с открытостью и свободой, «Россия» — с давлением и архаикой. Душа рассудочная усваивает готовые объяснительные схемы: гражданское общество против имперского центра, независимые медиа против русскоязычного государственного влияния, суверенитет против российской экспансии. А душа сознательная подвергается более тонкому испытанию: ей всё труднее осуществить действительно свободный акт различения, потому что сам язык допустимого анализа заранее насыщен внешне заданными морально-политическими координатами. Здесь когнитивная война достигает высокой эффективности именно потому, что действует как нормализация, а не как открытый приказ.

При этом необходимо сделать принципиально важную оговорку. **Сам по себе факт внешнего финансирования ещё не равен автоматически русофобии.** Это различие надо удерживать строго. Формально и официально такие структуры описывают свою деятельность в терминах демократии, прав человека, независимой журналистики, инклюзивного образования, противодействия коррупции и поддержки гражданского участия. Эти цели сами по себе не тождественны антироссийской кампании. Политическая интерпретация начинается там, где многолетне финансируемая инфраструктура стабильно вырабатывает такой язык и такой набор приоритетов, в котором Россия почти неизменно оказывается фигурой «авторитарного влияния», «империалистического давления», «вредоносного вмешательства» или препятствия для нормального развития постсоветских обществ. Иначе говоря, переход от факта финансирования к выводу о когнитивной войне требует анализа не намерений как таковых, а повторяемых эффектов: какие кадры выращиваются, какие понятия закрепляются, какие медийные и исследовательские рамки становятся господствующими.

Именно поэтому правильнее говорить не о простой «заговорщической схеме», а о долговременной инфраструктуре смыслового смещения. Внешние фонды, грантовые сети и неправительственный сектор формируют не только бюджеты, но и культурную селекцию тем, норм, понятий и легитимных ролей. Они помогают создавать среду, в которой одни способы говорить о России, Европе, суверенитете и демократии кажутся естественными, а другие — маргинальными, подозрительными или заведомо вторичными. На постсоветском пространстве это особенно существенно, потому что здесь вопрос идёт не просто о внутренней политике, а о цивилизационном самоописании: кем считать себя, к какому историческому полю принадлежать, какой язык будущего считать своим. Поэтому инфраструктура внешнего влияния становится одной из самых тонких форм современной когнитивной войны: она работает не вспышкой, а средой; не только сообщением, а воспитанием самого горизонта, в котором потом становятся возможны политические решения.

18. Предзаключительный синтез

Если теперь собрать в одну линию весь пройденный материал, становится видно, что разные эпохи объединяет не тождество лозунгов, а повторяемость функций. Менялись исторические декорации, политические режимы, языки оправдания и технические носители воздействия, но вновь и вновь воспроизводился один и тот же жест: противник должен быть не просто ослаблен, а предварительно помещён в пониженную символическую категорию. В одних случаях это делалось через религиозно-цивилизационное отчуждение, в других — через язык деспотии, варварства, расовой неполноценности, угрозы равновесию, «авторитарного влияния» или «острой угрозы» безопасности. Но во всех вариантах цель оставалась сходной: лишить другой исторический мир полноты нормальности и тем самым облегчить давление на него как будто бы морально необходимое.

Именно это и составляет повторяющуюся функцию когнитивной войны. Она не ограничивается передачей нужного сообщения и не сводится к разовой дезинформации. Её задача — преобразовать само поле восприятия: заранее распределить симпатии и антипатии, норму и отклонение, допустимое и недопустимое, доверие и подозрение. Поэтому в разные эпохи она снова и снова работала через одни и те же опорные механизмы: демонизацию, моральное клеймение, превращение частного эпизода в знак сущности, смешение факта и символа, а также перевод политического конфликта в язык якобы естественной исторической и нравственной иерархии. Уже в 1914 году германская пропаганда описывала русских как «полуазиатские казачьи орды» и варварскую силу, а в современном европейском словаре Россия всё так же выделяется как особый источник «гибридных угроз», агрессии и системного риска. Формулы изменились, но сам механизм исключения из пространства доверия остался узнаваемым.

В этом свете особенно важен образ России и славянского Востока как «**неполной Европы**». Смысл этой конструкции не в том, чтобы полностью вывести Восток Европы за пределы европейской истории; напротив, её сила именно в промежуточности. Россия и славянский мир слишком близки к Европе, чтобы быть просто внешним миром, и слишком упорно описывались как «не вполне соответствующие норме», чтобы быть признанными равными без оговорок. Отсюда и рождается многовековая схема: восточноевропейское пространство допускается внутрь общей карты, но удерживается на пониженной ступени символического признания — как менее зрелое, менее прозрачное, менее политически надёжное, более склонное к насилию или внешней управляемости. Современные размышления о «ментальной карте» Восточной Европы прямо отмечают,

что представления о её месте в мире исторически искажались через логику периферии и неполной вписанности в «нормальный» центр.

Именно поэтому столь долговечными оказались и антиславянские мифы: славяне как орудие внешней силы, как «не вполне Европа», как население, требующее управления, а не полной субъектности, как региональный источник нестабильности и насилия. Эти мифы работали по-разному в Германии, Австро-Венгрии, на Балканах и в более широком западноевропейском воображении, но итоговая функция оставалась единой — уменьшить историческую меру другого. Даже там, где открытый расовый язык ушёл после 1945 года, скрытая шкала культурной и политической неполноценности не исчезла полностью; она продолжила существовать в более мягких регистрах: недоверии к Востоку, подозрении к его политической зрелости, слабой чувствительности к антиславянским стереотипам и готовности видеть в восточноевропейском пространстве прежде всего периферию, а не равноправный центр исторической воли.

Современный этап добавляет к этим старым схемам новую инфраструктуру. Санкционные режимы ЕС прямо описываются как «massive and unprecedented», то есть как меры исключительного масштаба; параллельно внешние фонды и грантовые сети открыто заявляют о поддержке независимых медиа, гражданского общества, образования и демократических ценностей в Европе и Центральной Азии, а NED говорит о противодействии «авторитарному влиянию России» в Евразии. Сама по себе такая поддержка не тождественна русофобии, и это различие нужно сохранять. Но политически значимым становится другое: из этих медийных, образовательных и экспертных инфраструктур вырастает устойчивый язык, в котором Россия снова и снова описывается как источник давления, регресса, угрозы и вмешательства. Так долгий исторический мотив «неполной нормы» получает новые носители — санкционный реестр, экспертный доклад, грантовую программу, платформенную экосистему и международно-правовую рамку.

Отсюда и следует общий переход к выводу. Если в основе столь разных эпох лежит одна и та же работа по понижению противника в шкале исторической легитимности, значит когнитивная война против России и славянского Востока не может быть понята как сумма отдельных кампаний, вызванных только текущими интересами. Она представляет собой длительную борьбу за право определять, кто считается нормой, а кто — отклонением; кто имеет право быть полноправным субъектом истории, а кто должен быть описан как угроза, периферия или материал внешнего исправления. Именно это и подводит нас к заключению: речь идёт не только о споре государств и не только о смене пропагандистских техник, а о многовековой борьбе за сам образ человека, народа и цивилизации в европейском сознании.

19. Заключение

Проведённый анализ позволяет сделать главный вывод: когнитивная война не является побочным явлением современной медийной эпохи, а представляет собой одну из устойчивых форм исторической борьбы за сознание человека и народов. Она действует не только через сообщение, но через саму внутреннюю организацию восприятия; не только через мнение, но через память, моральную рамку, доверие, волю и идентичность. В антропософском смысле она стремится поразить не один лишь рассудок, а весь душевный строй — душу ощущающую, душу рассудочную и, в пределе, душу сознательную, то есть саму способность человека к свободному и внутренне ответственному суждению. Именно поэтому её последствия оказываются столь глубокими: она меняет не только то, что люди думают о мире, но и то, как они вообще способны его переживать.

Русофобия и славянофобия в этом свете должны рассматриваться не как случайные исторические предрассудки и не как сумма отдельных политических кампаний, а как устойчивые формы когнитивного давления, многократно воспроизводившиеся в разных эпохах. От раскола между Западом и Востоком и антивизантийской латинской полемики, через раннее антимосковское описание России, через британскую, французскую, германскую и австро-венгерскую фабрикацию образов, вплоть до современных санкционных, медийных, правовых и грантово-институциональных форм воздействия — вновь и вновь повторяется один и тот же основной жест: Россию и славянский Восток стремятся представить как нечто неполное, подозрительное, менее зрелое, менее нормальное и потому допустимо подлежащее внешнему суду, ограничению или исправлению.

Именно здесь раскрывается глубинная формула статьи. Русофобия и славянофобия суть не просто враждебность к определённым государствам или народам; они суть борьба за символическую и нравственную иерархию Европы. Их задача — не только ослабить противника, но и понизить его в шкале исторической легитимности. Россия и славянский Восток изображаются то как деспотический мир, то как «полуазиатская» сила, то как источник мятежа, то как пространство варварства, то как носители «авторитарного влияния» и системной угрозы. Меняются слова, но сохраняется функция: вывести противника за пределы полной нормы и представить давление на него не только политически выгодным, но и нравственно оправданным.

Тем самым становится ясно, что в основе когнитивной войны лежит борьба за право именованья. Кто получает возможность определить, кто является цивилизованным, а кто варварским; кто принадлежит к норме, а кто объявляется отклонением; кто рассматривается как полноправный субъект истории, а кто — как объект внешнего управления, подозрения или санкционного воздействия, — тот уже в значительной степени владеет самим полем борьбы. Иначе говоря, когнитивная война есть борьба не только за интерпретацию событий, но и за саму онтологическую и моральную рамку исторического существования народов.

Поэтому исследование русофобии и славянофобии требует не только политологического, исторического или медийного анализа, но и более глубокой духовной трезвости. Необходимо видеть, как под видом рационального описания, геополитической необходимости, гуманитарной заботы или борьбы за безопасность может действовать древний механизм понижения другого. Там, где один народ присваивает себе право быть полной нормой, а другому отводит положение условно признанного, неполного или подозрительного мира, уже совершается акт духовной несправедливости. В этом смысле когнитивная война есть борьба за душу истории.

Итоговая формула статьи может быть выражена так: **когнитивная война против России и славянского Востока есть многовековая борьба за право определить, кто считается нормой, а кто — угрозой и чужим.** И пока эта борьба продолжается, вопрос стоит не только о политическом влиянии и не только о победе в информационном поле, но о самом достоинстве народов как законных носителей собственной исторической судьбы.